Царь-девица

Автор:
Всеволод Соловьев

Царь-девица

Всеволод Сергеевич Соловьев

История в романах

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) – русский прозаик, поэт, критик, журналист; старший сын известного историка С. М. Соловьева. В 1870 г. окончил юридический факультет Московского университета, после чего уехал в Петербург, где сначала служил в императорской канцелярии, затем чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения, цензором драматических сочинений при Главном управлении по делам печати. С 1896 г. и до конца жизни был председателем комиссии по устройству народных чтений. Начал литературную деятельность со стихотворений, затем помещал критические очерки в журналах. Приобрел известность как прозаик целым рядом исторических романов, популярность которых определяли в основном красочность в изображении старины и драматичность фабулы. Большинство из них первоначально печатались в журнале «Нива», а позже в «Севере» (основанном Соловьевым вместе с П. П. Гнедичем), во многом обеспечивая успех этим изданиям. В данном томе представлен роман «Царь-девица», посвященный трагическим событиям, происходившим в Москве в период восшествия на престол Петра I: Смуты, стрелецкие бунты, борьба за власть между членами царской семьи и их родственниками. В центре повествования личность царевны Софьи – сестры Петра Великого, которая сыграла видную роль в борьбе за русский престол в конце XVII в.

Всеволод Соловьев

Царь-девица

Предисловие

Непрочно благополучие приближенных ко двору. Вот и дворянин Перхулов оказывается в немилости царской и сослан в Суздаль. Однако время лучший лекарь от такой беды. Проходит несколько лет, и Перхулов уже успокоился, забыл старые обиды, ведет свое немудреное хозяйство; а как приютил свояченицу своего друга Любушку Кадашеву, так и совсем утешился. Старость склоняет к покою. Не то – молодость! Кипит кровушка у Любаши, рвется она не куда-нибудь, а в самый терем царевны. Мечте ее суждено сбыться: бежит она из дома благодетеля, добирается до села Медведково (известный теперь район столицы), в котором становится очевидцем бунта старообрядцев, а оттуда попадает-таки в Москву, да не просто в Москву, а к самой царевне Софье. Таково вкратце содержание первых страниц романа Вс. Соловьева «Царь-девица».

Начало романа стремительно, как стремителен и ход событий, описываемых в нем. Конец XVII века вновь потряс Россию: набирал силу раскол. Страшная борьба развернулась между последователями Никона и Аввакума. Но не менее страшной была борьба и за царский престол.

В 1676 году, 46 лет от роду, умер «тишайший» царь Алексей Михайлович. Еще при жизни его умерли старшие сыновья царя Дмитрий и Алексей. В 1672 году не стало и бездетного Федора. Наследовать престол должен был младший брат Федора Иван. Однако пятнадцатилетний сын Милославской был наполовину идиот, да к тому же почти слепой (у него не поднимались сами по себе веки). Поэтому бояре высказались за избрание Петра, десятилетнего сына второй жены Алексея Михайловича Нарышкиной. Яро воспротивилась такому решению одна из пяти сестер Ивана царевна Софья, главная героиня романа. Уже через месяц после провозглашения царем Петра спровоцировала она стрелецкий бунт и добилась разделения царской власти между сводными братьями. Затем следует еще один бунт, и Иван провозглашен первым царем. По малолетству царей правительницей России становится сама Софья, а настоящим властелином избранник ее сердца Василий Голицын.

Увидев впервые Софью, Любаша Кадашева отмечает про себя необыкновенную красоту царевны. Однако у Костомарова читаем: «Некрасивая на взгляд иностранцев, Софья могла казаться привлекательной москвичам того времени,

которые не считали тучность недостатком». Так что же подмечали иностранцы? Вот воспоминание о Софье одного из них: «Уродливое тело непомерной толщины, широкая, как котел, голова, покрытое волосами лицо и шишки на ногах». Да уж!.. Трудно поэтому сказать, была ли красавицей Софья или нет. Несомненно одно: она была незаурядной личностью…

О многих интересных фактах из жизни этой личности узнает прочитавший роман «Царь-девица».

Владимир Близнюк

Часть первая

I

Лета тысяча шестьсот восемьдесят второго, Великим постом, в доме суздальского дворянина Перхулова случилось очень странное происшествие, поднявшее на ноги не только перхуловскую дворню, но и всех городских обывателей: сбежала и неведомо куда скрылась семнадцатилетняя девушка, Люба Кадашева, жившая у Перхулова уже три года.

Эта Люба и сама была из дворянского рода, только сирота круглая, и жила она у Перхулова по записи.

Приехал три года тому назад в Суздаль старый перхуловский знакомец, Кузьма Кашников, и стал спрашивать Перхулова, не возьмет – ли он к себе на дом его свояченицу девочку – «у самих-де с женою Марьицей достатки небольшие, своих малолетних детей четверо, так тяжело содержать в доме лишнего человека».

Перхулов согласился, и тут же была составлена такая запись: «Я, Кузьма Кашников, и жена моя отдали: я свою свояченицу, а она свою сестру, – девицу Любу, Ивану Онуфриевичу Перхулову, жить во дворе его до возраста, а как она будет на возрасте и ему дать ей приданого по силе и выдать замуж за вольного

человека, или за кого она похочет, а живя, ей слушать и почитать и всякую работу работать домашнюю, вести себя хорошо, а ему ее кормить, одевать и обувать».

Покончив это дело, Кашников уехал в свою небольшую вотчину, тут же неподалеку, а через неделю вернулся со свояченицей.

Любе тогда было лет около четырнадцати. Перхуловым она понравилась. Только заметили они в ней что-то странное: в ее взгляде не было робости, свойственной ее полу и положению. Глядела она всем прямо в глаза, а при прощании с зятем выказала большую холодность: не плакала и не причитала, не посылала поклонов сестрице своей Марьице, как должна была делать, если и не по чувству, то хотя бы из приличия.

– Плохо, видно, вы с женой ее учили! – заметил Иван Онуфриевич Кашникову и, не получив от него никакого ответа, приказал отвести Любу на женскую половину, к своим дочерям, да сейчас же и позабыл о ней думать…

Иван Онуфриевич Перхулов в прежнее время жил в Москве, служил и даже пошел было в гору при дворе великого государя царя Алексея Михайловича. Но нашлись у него враги посильнее его, теснить стали, наговаривать – и нежданно-негаданно пришла царская немилость: велено Перхулову с семейством выехать из Москвы в город Суздаль.

Долго не мог примириться Иван Онуфриевич со своей судьбой, пробовал и то, и другое, и третье, писал челобитные, старался так или иначе зацепить своих лиходеев, да ничего не помогло: в Москве о нем забыли – невелика птица! Поневоле пришлось успокоиться и, оставшись не у дел, заняться домашним обиходом. Да и, наконец, не так уж и велика была царская немилость! Могли ведь всего именьишка лишить, как есть голяком оставить, даже сослать куда-нибудь в глушь; но ничего этого не сделали, все имение оставили при Иване Онуфриевиче, не лишили его ни одной вотчины.

И стал Перхулов строиться в Суздале.

Прошло несколько лет; живет он себе со своей Афимьей Лукьяновной и двумя дочерьми подростками (сыновей у них не было), живет, как дай бог всякому. Дом и все строения – каких ни у кого нет в Суздале, холопей и дворовых многое

множество, соседи, подсуседники, захребетники. Разного продовольствия из ближних и дальних вотчин привозится в изобилии. От суздальских людей всякого чина и звания Ивану Онуфриевичу большое почтение. Да и стоит он этого почтения: держит себя и дом свой в благолепии и строгости, никаким худым делом не занимается, радеет о церкви, никогда-то не поленится – ни одной службы не пропустит, всячески ласкает духовенство и любит беседы с отцами духовными, а отцы духовные на его мудрость книжную не нахвалятся.

Да, справедливый человек Иван Онуфриевич, к тому ж и добрый хозяин в своем доме – ведет его по Домострою. С женой живет дружно. Афимья Лукьяновна тоже хозяйка добрая, умеет ценить и почитать мужа, а провинится в чем против его воли, так разве что ненароком, и тотчас же сама придет, поклонится ему в ноги: «Так, мол, и так, государь мой, батюшка Иван Онуфриевич, согрешила я перед тобою, поучи меня за это».

И тут же плетку подаст ему.

Иван Онуфриевич плетку возьмет, стегнет разок-другой ради порядку, да потом и облобызает троекратно Афимью Лукьяновну. «Так-то вот, жена, вперед смотри – не оплошай, не то и впрямь поучу хорошенько; на сей раз, бог с тобой, прощаю!»

Хозяйство Афимья Лукьяновна вела рачительно; многочисленную свою прислугу женскую держала в повиновении, не утруждала мужа напрасными жалобами и доводила до его сведения о беспорядках только тогда, когда случалось что-нибудь уж очень неладное.

И все в доме было тихо да гладко. За семь лет жизни Перхуловых в Суздале не произошло у них ничего дурного. Раз только стряслась было беда. Один из холопей больно что-то провинился перед Иваном Онуфриевичем, и тот, не сдержав своего сердца, чересчур поучил его: вопреки Домострою поучил и в ухо, и в видение, и в голову, и куда попало.

Холоп, несмотря на страшные побои, весь в крови выбежал за ворота и начал кричать таким отчаянным голосом, что сбежалось немало народу. А он все кричал, всем показывал свой вытекший глаз и разбитую голову, все что-то грозился и поносил своего господина, пока, наконец, кровь не хлынула у него из горла и он не упал.

Люди Ивана Онуфриевича подобрали его и сволокли назад в избу. Говорили в городе, что на другой день этот холоп помер, но, конечно, никому в голову не могло прийти очень осуждать Ивана Онуфриевича и изменять о нем доброе мнение. Правда, не след было человека живота лишить, да ведь сотворилось все это ненароком, и такое дело со всяким может случиться…

II

Доля девочки-сиротки, Любы Кадашевой, попавшей в дом Перхулова, с детства была незавидная. Почти первым ее детским впечатлением был ужас.

Ей не минуло еще и десяти лет, как над семейством Кадашевых стряслось страшное несчастье. Жили они в своей вотчине, никому не мешали. Отец был человек смирный, безобидный; не поладил он только с приказчиком соседнего большого имения, принадлежавшего боярину Окуневу.

Приказчик то и дело чинил Кадашеву всякие обиды, в разор разорял его. Кадашев терпел, терпел да и послал, наконец, жалобу боярину Окуневу.

Жалоба до боярина не дошла – приказчик как-то о ней проведал, захватил кадашевского посланца и освирепел. Собрал он людей немало, чуть не целую сотню, да пьяный и нагрянул к Кадашеву. В усадьбе поднялся вопль: женщины бегали, кричали, как полоумные, а пьяный приказчик со своими людьми разогнал всю мужскую прислугу, разбил дом, поломал все, что попадалось под руку, забрал ценные пожитки.

Не стерпел Кадашев – кинулся с десятком верных холопей на своего душегубца.

Поднялась драка. Окуневские люди были вооружены разным дреколием и топорами, да и пьяны к тому же: рассекли они Кадашеву голову, так что тот упал замертво, да заодно уж и жену его уложили.

Старая нянька спряталась с маленькой Любой в подвале в пустой бочке – тем только и спаслись.

Потом, как разбойники, вконец разорив усадьбу и оставив в ней несколько трупов, убрались восвояси, нянька доставила Любу к замужней сестре ее,

Марьице Кашниковой.

Марьица поплакала, погоревала, сестренку оставила у себя, а муж ее, обсудив дело, решил, что с честью нужно похоронить родителей, а дело с окуневским приказчиком и заводить нечего – не им, Кашниковым, его осилить: боярин приказчика не выдаст. Не впервой ведь такое дело делается. Дай бог только вотчину получить кадашевскую.

Кашников со всякою опаскою похоронил убитых и радовался, что не встретилось никакого затруднения в получении разоренного имения. Он был небогат, и новый доход был ему на руку. О свояченице, конечно, он не подумал, да и Марьица не много внимания на сестру обращала.

Сначала Кашниковы ждали, что умрет девочка – так она была напугана, с полгода дрожью дрожала, припадки с ней были странные; но здоровая натура взяла свое: Люба поправилась, только не на веселое житье, не на радость. Старая любимая нянька, единственное существо к ней ласковое, скоро отдала Богу душу.

Сестра Марьица заботилась только о своих детях, да и Любу заставляла их няньчить и строго взыскивала за нерадение.

Одно только путное, что вынесла девочка из кашниковского дома, это знание грамоты: Кузьма Кашников в свободное время, от нечего делать и видя необыкновенную понятливость свояченицы, обучал ее чтению, хотя Марьица и восстала на эту прихоть мужа: сама она, как и все почти женщины того времени, была безграмотна.

Люба вышла девочка смышленая, но какая-то дикая; она рано привыкла уходить в себя, беседовать с собою. Ее память удерживала все, все разговоры, которые она слышала. Ее природная любознательность не проходила равнодушно мимо явлений, вокруг нее совершавшихся.

После трудного, часто обидного для нее дня, в тихий вечерний час, когда ей, наконец, возможно было улечься на холодной и неряшливо устроенной постели, она долго не засыпала, все думала да передумывала, разбирала своим детским разумом то одно, то другое.

Кашников удивлялся ее понятливости, но он и вообразить себе не мог, как много она уже знала, несмотря на свой возраст.

Она отлично понимала, что отец и мать ее невинно убиты и что их убийцы остались безнаказанными. Она знала, что их родовое имение перешло в собственность Кашникова и ее сестры, а она, Люба, ничего из него не видит и, конечно, у нее ничего нету, так как и сестра и зять не раз уже попрекали ее тем, что ее даром поят и кормят, не раз уже толковали между собою о том, что нужно бы от нее избавиться, отдать ее в чужие люди.

– Как же это так? – рассуждала сама с собою сиротка. – Как же это? Ведь Марьица сестра мне, я была такая же, как и она, дочь у отца с матерью, все, что у них было, – ее и мое, а у меня, выходит, ничего нет – что же это значит?

Но не одни подобные вопросы занимали ее; многое, многое казалось ей непонятным и странным. Почему Кашников все может, сестрица Марьица может гораздо меньше, а она, Люба ничего не может? Почему, когда приезжают к хозяину гости, Марьица и все женщины сейчас же убегают и запираются в своих покоях? Почему им зазорно попадаться на глаза мужчин?

Чем больше вырастала и развивалась Люба, тем эти вопросы становились все навязчивее и навязчивее. Она даже попробовала было расспросить кое о чем Марьицу, но та, как услышала, выкатила на нее глаза, долго не понимала, что это она такое спрашивает, а когда поняла, только всего и ответила, что назвала ее дурой.

У Кашникова же Люба ничего и не спрашивала. Она знала, что вместо всякого ответа получит колотушку – зять ее был тяжел на руку и никому не давал спуску, особенно бабам. Марьица частенько ходила с фонарями то под одним, то под другим глазом.

К Перхуловым Люба переселилась, не решив ни одного из своих вопросов и только окончательно убедясь, что во всем божьем мире нет у нее близкого человека, нет даже сродников, потому что Кашников да Марьица – что это за сродники, если ее, свою близкую и родную, как щенка негодного, из дома вышвырнули? Положим, прощаясь с нею, Марьица плакала и причитала, повисла у нее на шее и ныла: «На кого ты нас покидаешь, золотая сестрица Любушка!» Но ведь не далее как накануне Люба своими ушами слышала, что Кашников с

женою толковали и радовались своему избавлению от лишнего рта в доме.

Любина жизнь у Перхуловых, конечно, не могла весело настроить ее мысли: здесь ей было еще хуже, чем у сестры. Здесь она уже окончательно превратилась в холопку. Здесь еще более разных новых, мучительных и неразрешимых вопросов приходило ей в голову. То, что видела она в маленькой зятниной усадьбе, то еще ярче било в глаза в большом богатом перхуловском доме. Замкнутость и уединенность женской жизни продолжали смущать Любу.

Сгорая желанием узнавать все, что делается на свете, так или иначе решать всякие вопросы, Люба нередко подсматривала и подслушивала на мужской половине. Бывало, у Перхулова соберутся гости, пойдет угощенье да бражничанье. Люба заберется в темный уголок, где трудно отыскать ее и откуда она может все слышать. И жадно, чутко она слушает, очень многого не понимает, но все же слушает. Часто говорят что-то чудное; поминают Москву, царя.

Тут перед Любой является длинная вереница всевозможных картин, представлений. Иногда из какой-нибудь одной фразы для Любы нарисуется нечто большое, цельное и фантастическое.

Часто прислушиваясь к беседам на мужской половине, Люба кончила тем, что представила себе, совершенно по-своему, но в то же время определенно и ясно, волшебную жизнь, которая идет там, в Москве, в царских палатах. И она полюбила эту жизнь, она о ней грезила.

Пробовала она иногда заговорить про свои грезы с боярышнями Лизаветой и Домной, но те не находили во всем этом ничего интересного.

Они с утра до вечера заботились только о том, как бы побольше поспать, плотнее поесть, получше разрядиться и расписать свое лицо.

Домна Ивановна была худа от природы, и мать нередко говаривала ей, что если она не поправится, не потолстеет, так будущий муж любить ее не будет. От таких слов Домна Ивановна часто по целым часам плакала и, наконец, решилась потолстеть во что бы то ни стало. Для этого, конечно, было одно только средство, побольше есть и побольше спать. И семнадцатилетняя девушка только и делала, что валялась на пуховой постели да ела пироги и всякую всячину.

Идеал женской красоты того времени заключался в том, чтобы не походить на себя, чтобы не оставить в лице своем ничего природного и естественного. В песне, в старой русской песне, пелось про красную девицу, что у нее было

Белое лицо, как бы белой снег,

Ягодицы (на щеках), как бы маков цвет,

Черные брови, как соболи,

Будто колесом брови проведены,

Ясные очи, как бы у сокола…

Она ростом-то высокая,

У ней кровь-то в лице, словно белого зайца,

А и ручки беленьки, пальчики тоненьки…

Ходит она, словно лебедушка,

Глазом глянет, словно ясный день…

И вот каждая женщина желала быть такою, какова героиня песни. Для этого на все лицо накладывали белила, середину щеки красили в яркую краску, брови колесом выводили сажею, а в глаза, для пущего блеска, впускали тоже особенную краску. Красили в черный цвет и зубы, для того чтоб ярче выделялась белизна лица. И все это делалось без малейшего искусства, так что женщина выходила после своей косметической работы совсем не живым существом, а какою-то плохо размалеванной куклой; зато издали, в полусвете, всякая дурнушка казалась красавицей: черты лица сливались, неправильности их исчезали, оставалась только яркость сочетания черной, белой и красной красок да фосфорический странный блеск глаз.

Дочери Перхулова, Лизавета Ивановна да Домна Ивановна, обе почти сверстницы Любы, взяли ее к себе и делали большое различие между нею и своими холопками: не давали ей черной работы.

Вся ее обязанность заключалась в том, чтобы быть их подружкою, убирать им головы, белить их да румянить, сурьмить брови, петь вместе песни разные,

забавлять их чем умеет.

Конечно, на долю Любы доставались иной раз щипки и колотушки, на которые она должна была отвечать только почтительным молчанием. Но ведь как же иначе и могло быть? Все же она не боярышня, а человек подначальный.

Первые годы и жила себе Люба – не жаловалась, исполняла все, что приказывали: разрисовывала своих молодых госпож, как только умела; пела, пока в горле не пересыхало; на щипки и колотушки отмалчивалась; только иногда в темном своем уголку позволяла себе поплакать. Но к концу второго года что-то странное сотворилось с Любой, будто бес засел в нее – больно много стала она давать себе воли.

Перхуловские боярышни, почитай, каждый день приходили на нее жаловаться матери: то не исполнит их приказу, то грубо ответит, на брань сама бранится, на щипки отщипывается. И не совладать с ней боярышням – в два года переросла она их чуть не головою. Высокая, статная да крепкая; лицо – кровь с молоком; брови черные, глаза с поволокою; ни белил, ни румян, ни сурьмы не нужно. А сила в полных белых руках такая, что хоть с мужчиной побороться.

Афимья Лукьяновна сначала мало обращала внимания на дочерние жалобы, но наконец и сама убедилась, что Любашка ведет себя ни с чем несообразно. Раз, другой покричала на нее, ногой потопала, выговорила ей как следовало: «Что ты, мол, такая-сякая, нос свой выше головы задираешь, – помни, матушка, кто ты и кто мы! Ты сирота нищая – не возьми мы тебя, осталась бы совсем без пристанища. Поим, мол, кормим, да и ешь-то ты за двоих – так ты все это должна помнить, и ценить, и всякое послушание своим госпожам оказывать».

Люба слушала молча, только глаза свои заплаканные длинным рукавом утирала.

Афимья Лукьяновна подумала, что вразумила девку и теперь она за ум возьмется. Но не тут-то было!

Не прошло и недели, как новые жалобы на Любу.

Афимья Лукьяновна взяла свою хозяйскую плетку и собиралась изрядно постегать неразумную девку. Да как взглянула в лицо Любы, так и отшатнулась – страшна она вдруг ей показалась.

Люба не плакала, а стояла вся бледная, куда и румянец девался, стояла с дрожащими губами; глаза ее черные, что уголья, горели. Вот-вот она сейчас кинется в ноги Афимье Лукьяновне, начнет целовать ее руки, подол ее платья, умолять, чтобы та смилостивилась, не казнила. Только нет – Люба не кинулась в ноги, а тихо выговорила: «Бить меня хочешь… не бей… не бей – хуже будет!»

И ничего она не прибавила, но и в этих немногих словах ее Афимье Лукьяновне послышалось что-то такое страшное, такое особенное, в чем она не могла себе дать даже отчета, что она, ни слова не сказав Любе и не тронув ее пальцем, ушла и повесила плетку на гвоздик, на обычное место.

С этого самого дня почти полгода Люба была тише воды, ниже травы, все исполняла, что ей приказывали: опять убирала и рядила молодых госпож своих, опять пела им песни, на брань и щипки молчала – только уж никто в доме не слыхал ее смеха, не видал ее улыбки: каменная какая-то сделалась, скучная, так что и на других даже тоску наводила.

Лизавета и Домна Ивановны окончательно ее возненавидели – она их всячески потешать должна, а от нее и слова не добьешься, иной раз просто жутко с нею; стали они от нее отстраняться, приблизили к себе других девушек дворовых, а на Любу навалили работы всякой: шитья и вязанья.

III

Единственная радость, оставшаяся Любе, было опять-таки подслушиванье разговоров на мужской половине, разговоров о том волшебном, чудном мире, который назывался Москвою и двором царским и который она так давно полюбила.

Теперь уже многое, прежде непонятное для нее в этих разговорах, становилось понятным – она уже не смущалась перед многими словами, а разговоры в последнее время, действительно, становились интересными.

Сначала весь дом, даже женскую половину, облетела весть, что скончался царь Алексей Михайлович. Затем стали много говорить о всяких новых порядках, об уничтожении местничества, и старики качали головами, не одобряли новшеств, находили, что все вверх дном начинает перевертываться в земле русской, что не

к добру это – видно, скоро светопреставление, видно, антихрист нарождается.

Но в особенности один разговор необычайно поразил Любу и поднял в ней целую бурю новых ощущений. Говорилось про одну из царевен, про Софью Алексеевну. Очень недружелюбно относились к ней перхуловские гости. Толковали они о том, что покойный царь совсем распустил семью свою, дочерей-царевен, видно, не держал в страхе Божием, и вот теперь худые дела оказываются. Вишь, царевна Софья, забыв стыд девичий, показывается перед всеми мужчинами, вступает с ними в разговоры, одним словом, ведет себя не как особа женского пола, а как мужчина.

И нельзя было никак сомневаться в этих известиях, так как передавал их думный дьяк, приехавший из Москвы и постоянно во дворец вхожий. Немало представил он примеров «стыдных поступков» царевны Софьи. С ним самим она не раз вступала в беседу и толковала о разных предметах, даже о делах государственных.

– Великого ума царевна! – закончил дьяк. – Об этом и толковать нечего, только зачем ей ум? – Не женское это дело. Женский ум в скромности да в послушании…

Люба из своего темного уголка напрягала весь слух, чтобы не проронить ни одного слова.

Вся она дрожала, грудь высоко поднималась, на щеках загорался горячий румянец.

Всю эту ночь прометалась она на своей постели: все ей грезилась чудная царевна, осмелившаяся выйти из женского терема, осмелившаяся толковать с боярами и думными дьяками. И всем своим молодым, горячим сердцем полюбила заочно эту царевну Люба. Она почуяла в ней родство с собою, она поняла, что не одна она на свете такая чудная, такой выродок, как ее называли; что там, в волшебном мире, живет родная ей душа, которую тоже называют выродком.

Ее, бедную Любу, часто попрекают и бранят бесстыдницей; вот не далее как вчера надсмотрщица за работами ворчала на нее. «Глаза твои бестыжие, – говорила она, – и где ты такая уродилася? Тебе рыскать простоволосой к мужикам да калякать с ними все равно, что воды выпить. Тьфу ты, окаянная!»

И сказала злая баба при этом такое слово, которое и в мыслях-то повторить совестно.

Несколько дней словно лихорадка била Любу, и все росла и росла в ней любовь к далекой царевне.

«Царь-девица! Царь-девица!» – шептала она, вспоминая чудную сказку, когда-то давно слышанную ею от покойной няньки. И рвалось ее сердце к той Царь-девице, рвалось неудержимо.

А в то же время действительная ее жизнь становилась все хуже и хуже. Попала она в руки злой бабы – надсмотрщице, что за шитьем и вязаньем в перхуловском доме глядела. Злая баба поедом есть ее стала. Утром задаст урок, с которым никак нельзя справиться, к вечеру придет, видит, что не все готово – и начнется брань, попреки. И такой гадкий язык у бабы – как змеиное жало. Иное обидное слово до самой души прохватывает, а пожаловаться на надсмотрщицу нечего и думать. Она у Афимьи Лукьяновны в большой милости – слуга старая, верная, а на Любу и хозяйка, и дочери хозяйские косятся; так кто же ее обиду рассудит?

И терпела Люба, работала день-деньской не разгибаясь. А надсмотрщица все недовольна.

– Что же это, наконец, такое? – не вытерпев, как-то сказала Люба после брани злой бабы. – Я ли, кажется, не работаю, так не грех бы тебе, Ненила Сидоровна, разок добрым словом обмолвиться.

– Да, стоишь ты доброго слова!.. Колотушки ты стоишь – вот что! – ворчала старуха.

Кровь бросилась в голову Любе. Сама себя не помня, поднялась она во весь рост перед старухой. Глаза ее сверкали.

– Ну нет, холопка, не тебе бить меня!

– Ах, светы мои батюшки! – в свою очередь, багровея и трясясь от злости, накинулась на нее надсмотрщица. – Это я тебе холопка? Это я-то бить не смею? А вот увидишь!

Люба не успела отшатнуться, как получила сильным удар прямо в щеку.

Не говоря ни слова, кинулась она на старуху и, как щепку какую-нибудь, отшвырнула ее от себя в противоположный угол горницы.

Злая баба взвизгнула, бросилась вон, прямо к Афимье Лукьяновне и дорогой рвала на себе волосы и царапала лицо, чтоб появиться в более жалостном виде. Упала она госпоже в ноги. «Так и так», – рассказала все доподлинно о продерзостях Любашки и требовала себе защиты.

Афимья Лукьяновна приказала немедленно призвать к себе Любу, но та не явилась.

Тогда она сама к ней отправилась.

Люба стояла, как бесом одержимая, с поленом в руках, очевидно, никого и ничего перед собою не видела и диким голосом кричала:

– Никто не подступайся, не то убью!

Афимья Лукьяновна побежала прямо к мужу.

Тот, узнавши в чем дело, взял с собою двух ражих людей; Любу, несмотря на ее безумное сопротивление, схватили и отстегали так, что она дня два не могла подняться с постели.

После этого прошла неделя – и вдруг в перхуловском доме объявилось, что Люба исчезла.

Все поднялись на ноги, стали искать ее, но нигде не находили. Порешили было, что случилась такая беда: девка, видно, с дури да с сердцов утопилась в проруби.

Одно только казалось странным: все Любино белье, платье были налицо. Считали и пересчитывали – как есть все цело! И выходило так, что Люба скрылась из дому не только без шубки, но и без самой необходимой одежи.

Может, надела чужое… Всех переспросили, все переглядели: все как есть цело – ничего не оказалось в пропаже.

Чудное дело: выбежала девка в зимнюю морозную ночь топиться, выбежала в чем мать родила на свет божий, и никто не видал, как она бежала!.. Нет, тут что-то неладно! Уж не сам ли дьявол ее сцапал?

Это предположение оказалось самым подходящим, и на нем остановились…

IV

У опушки густого, на десятки верст раскинувшегося бора, недалеко от дороги московской, верстах в двадцати пяти от Суздаля приютилась избенка. Чернеется она, будто гриб какой, среди яркого снега, озолоченного солнцем. Кругом тихо. Неподвижно, как каменные изваяния, стоят вековые сосны. Молчит лесная птица. Не подает голосу домашняя скотина под навесом. Только легкий дымок струится над избою, поднимается к ясному, розовато-голубому небу и незаметно исчезает в безветренной высоте.

Но вот скрипнула дверца избушки, на пороге показались старик и молодой парень.

Парень в толстом зипуне, в теплых валенках, в меховой шапке, за спиною у него котомка небольшая из толстой холстины.

Старик что-то толкует парню, показывает руками на дорогу.

– Спасибо, дедушка, спасибо, понял, – отвечает тот звонким голосом. – Бог даст, не заплутаюсь.

– Помни: село Медведково, спроси там Лукьяна – его всякий знает, – он тебя на ночь впустит.

– Спасибо, дедушка, спасибо за ласку! Не впустил бы ты меня, так в лесу ночевал бы!

– Зачем в лесу? И незнаемого человека в лесу не оставлю, а коли ты моего племяша Федюшки приятель, так тем паче. Только, эх ты, парень, парень, подивился я на тебя – полно, так ли, что ты мне насказал, с посылом ли ты на Москву от господина?

– Вестимо, с посылом, – бойко ответил парень.

– Ну, да ладно, – слабо усмехнувшись, заметил старик, – я тебе не судья и не доносчик. В бегах ли ты, или что – не мое дело, ты мне зла не сделал – с Богом!

Юноша еще раз сказал старику спасибо и быстро направился к московской дороге.

Старик постоял, поглядел ему вслед, покачал головою и вернулся в избушку.

Утро задалось чудесное.

Несмотря на морозец, в воздухе уже слышалось приближение весны, уж носился какой-то особенный, свежий, сладкий запах. От лучей солнечных кое-где капал заледеневший снег с древесных веток.

Парень шел быстрым, скорым шагом, как будто его что-то подталкивало.

Вот он оставил лес за собою, выбрался на большую дорогу, огляделся во все стороны, прислушался к тишине окрестной: ничего и нигде не видно, не слышно. Во все стороны блестящая поляна, только полоса дороги, протоптанная обозами, потемнела. Старик сказывал – тут уж недалеко до первого селенья…

Юноша еще быстрее пошел дальше.

Солнце поднялось выше, заглядывает прямо в глаза, так что щуриться приходится путнику. И он весело щурится, весело смотрит на разноцветно горящие снежинки под ногами. Ему петь и плясать хочется. Да как же и не петь, не плясать и не радоваться? Молодость и здоровье так и сверкают на лице его. Он высок и строен, но почти ребенок. Над алыми губами его незаметно даже еще и пуху, и невольно, глядя на него, думается: откуда это взялся такой красавец мальчик? Да и мальчик ли это, полно?

И впрямь то не мальчик, а красная девица – перхуловская Люба Кадашева, которую сцапал дьявол.

Старик из лесной избушки заподозрил своего ночного постояльца в том, что он сбежал от господина. Этот же старик с изумлением разглядывал юношу, дивился женской красоте лица его, его нежному голосу, видел и чуял что-то странное, необычное в этом юноше. Между тем мысль о том, что перед ним девушка, не могла прийти ему в голову. Если б ему сказали, что это сам бес в образе красавца мальчика, что это оборотень или какое ни на есть диво, он поверил бы; но чтоб это была девушка – никто не мог бы его уверить. Неслыханное, невероятное дело! В мужской одежде… на большой дороге…

А уж если и впрямь это так, если это девушка, значит, точно сидит в ней дьявол, и не сама это она идет, а он, враг, несет ее.

Но Люба ни о чем таком не думает, не дивится на свою неслыханную смелость, не раскаивается. Она думает только о том, как бы ей добраться до Москвы, не погибнуть в дороге. Вот вчера вечером, ух, как жутко ей было: и людей боялась, и зверей боялась еще пуще того…

Так как же все это могло случиться? А случилось оно очень просто. Почувствовав в себе силу подняться после жестоких побоев, бедная девушка вдруг приняла неожиданное для самой себя решение: бежать, бежать из этого ужасного дома, бежать к Царь-девице! И как до сих пор не пришло это ей в голову?!

Но бежать… ей, которая и на мужскую-то половину не могла выйти без того, чтобы ее не обозвали бесстыдницей… Бежать, не зная дороги, не зная, что там и как там, и что с ней будет, ожидая, что и люди лихие, и звери лютые сто раз могут ее погубить, прежде чем она доберется до Москвы!..

Все это, конечно, мелькало в голове Любы, но не смутило ее, не испугало – не такова она была, чтоб чего-нибудь испугаться. То блаженство, тот рай, которые ожидали ее в тереме Царь-девицы, были так чудны, так прекрасны, ее цель являлась такой заманчивой, что, раз почуяв возможность ее достижения, Люба не могла думать о препятствиях и бояться их.

Только как же это сделать? Как выбраться из дома! Как избежать погони?

Целую ночь все обдумывала и придумывала Люба и, наконец, остановилась на единственно возможном плане.

Одна, без чужой помощи, не выйдешь, в своем женском платье не убежишь, не избегнешь погони: нужно нарядиться мальчиком – но откуда добыть одежду?..

Как ни охранялись ходы и выходы женской половины дома, но, конечно, между молодыми девушками и парнями не обходилось без переглядываний и перемигиваний. Один из молодых слуг Перхулова, по имени Федор, или, как все его называли, Федюшка, не раз попадался на глаза Любе. Это был парень лет двадцати, не больше, красивый и бойкий, хотя и довольно глуповатый. Он был давно уже поражен красотою Любы и посылал ей нежные взгляды, а при случае и сладкие словечки. Но Люба не обращала на него до сих пор никакого внимания, ее сердце молчало, да и должно было оно забиться не для какого-нибудь глуповатого Федюшки.

Была суббота. Почти все в доме Перхуловых отправились ко всенощной. Люба осталась и как опальная, и как больная, остался и Федюшка по счастливому случаю.

Тишина в доме, темь кромешная.

Люба изловчилась, огляделась и пробралась на мужскую половину, а там, словно ее поджидает, стоит Федюшка.

Он это, он – хоть и темно, а она его разглядела.

– Ай! – вскрикнула Люба и не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях и почувствовала на щеке своей горячий поцелуй.

В первую минуту она было возмутилась и обиделась, хотела оттолкнуть его от себя и убежать обратно в свою каморку, но сейчас же и одумалась.

Она только слабо отстранила его и зарыдала.

– Что ты, ласточка моя? О чем ты плачешь? – тихо и нежно прошептал Федюшка.

– Как же мне не плакать! – сквозь рыдания ответила ему Люба. – Или не знаешь, какова моя жизнь? Или не знаешь, что на мне места живого не осталось – вся как есть избита!

– Ох, знаю, знаю, моя красавица, и, видит Бог, как узнал, так ажно меня до слез прошибло…

– Что ж так? – сказала Люба, останавливая свои слезы. – Чего тебе обо мне плакать – я тебе не своя, а чужая.

– То-то и есть, что не чужая, давно уж я по тебе сохну, Любушка!

– Любишь меня, что ли? – уже твердым и несколько лукавым голосом спросила Люба.

– Больше жизни люблю, за тебя готов в огонь и в воду. То есть пущай все тело мое рвут на части, лишь бы тебя не трогали.

– Пустое – не верю!

Но времени терять было нечего: того и жди их застанут, и быть новой беде. Нужно ковать железо, пока горячо… За смелостью у Любы дело не стало.

– А коли впрямь любишь, так докажи, – сказала она, – выручи из беды, помоги убежать, тогда я тебя в жизнь не забуду.

– Убежать? Бог с тобой – а я-то как же?

Но у Любы на все были придуманы ответы, и справиться с глупым Федюшей ей было нетрудно. Она наговорила ему турусы на колесах, наврала невесть чего: уверила, что у нее есть богатые, знатные родные, что если он поможет ей убежать от Перхуловых, то и весна еще не успеет стать, как они свидятся и с тем, чтоб уж больше не разлучаться. Он тоже хоть и связан с Перхуловыми, да может развязаться – человек не безвольный, а живет по уговору.

Красно и доказательно говорила Люба. Федюшка всему поверил и успокоился, а за поцелуй, которым наградила его Люба, окончательно оказался готовым для

нее на что угодно.

Пока все были у всенощной, и сделалось дело. Тайно, так что никто не заметил, принес он ей свое старое платье. Она переоделась у себя в каморке и, получив от Федюшки указание, как ей добраться до его старого дяди, жившего близ московской дороги, шмыгнула за ворота перхуловского дома и через полчаса была уже в снежном поле, за Суздалем, среди ночной тишины, под звездным небом.

Ее сердце стучало шибко. Со всех сторон на нее наступали страхи и ужасы, но она смело шла вперед и только шептала слова молитвы, и только думала о волшебном тереме, где ее ожидает сказочная Царь-девица.

V

Весь день почти без отдыха шла Люба.

Иногда ее обгоняли обозы, тянувшиеся к Москве из вотчин со всяким продовольствием. Она заговаривала с возчиками, расспрашивала, далеко ли до Москвы, и получала в ответ, что еще далеконько. Спрашивала, не знают ли село Медведково, отвечали: «Как не знать, село большущее, знатное. Оно недалече, а все же, коли будет парень пеший идти, до вечера не доберется».

Люба попросила подвезти ее. Возчики согласились.

Еще не успело смеркнуться, как она заметила на горизонте чернеющие строения, церковные главы.

«Это вот и есть Медведково, тут сейчас и поворот к нему, и большая дорога».

Люба поблагодарила возчиков, проворно спрыгнула с воза и бегом пустилась по направлению к селу. Но бежать было трудно – снег глубокий да рыхлый, вязнут в нем ноги, к тому же и сильная усталость начала сказываться.

– Ну, ничего, ничего, – ободряла себя Люба, – там, авось Бог даст, отдохну у Лукьяна, а то ночью в поле жутко.

Она припустилась еще шибче. Вот уже Медведково, как на ладони: село, точно, знатное, большущее, его и за город принять можно.

На розовом горизонте померкающего неба, в значительном расстоянии друг от друга, рисуются две церкви. Избы, расположенные правильными рядами, образуют улицы.

Еще пройти один косогор – и Люба в Медведкове.

Но что это? Что за звуки? Гул, как от многих сотен человеческих голосов. Чем ближе, тем слышнее; что тут такое? Не беда ли какая? Не пожар ли?

Через несколько минут при входе в селение Люба очутилась среди густой толпы народа: тут были и мужики, и бабы, и даже дети. Крик, гвалт, ничего разобрать невозможно.

Люба спросила у первого попавшегося мужика про Лукьяна. Тот взглянул на нее, ничего не ответил и заорал свое, размахивая руками и, очевидно, не обращая внимания на то, слушает ли кто, что он орет.

Спросила она у другого. «Какой там еще Лукьян? Чего лезешь! Откедова?» – ответили ей.

Она замолчала. Расспрашивать теперь, не оглядевшись и не узнав, в чем дело, ей показалось опасным.

Но как тут узнаешь, о чем орут и что у них такое?!

– Антихрист, антихрист, вестимо, антихрист народился, – раздавалось в толпе, – уж видели – в Москве засел!.. Никон-то, вишь, предтеча его…

– Вестимо, вестимо! Эх, окаянные!.. Не оставим святыню в руках слуг антихристовых…

– В церковь, братцы, на попов!

Толпа хлынула к церкви. Люба – за народом.

Что такое? – она ничего не понимала. Слыхала она про Никона патриарха, слыхала, что в чести был великой он, а потом в чем-то провинился и словно бы в заточении где-то, знала и про антихриста, врага рода человеческого, слыхала, что он должен народиться; но что он уж и народился – об этом в перхуловском доме еще не говорилось.

Что-то они будут делать в церкви? От кого ее защищать? Что попы дурного сотворили?

Страх начинал пробирать Любу, но любопытство превозмогало и страх, и она спешила вслед за толпой, несмотря на свою усталость, спешила быть из первых на месте, чтоб ничего не пропустить, чтобы, наконец, понять в чем дело.

Толпа добежала до церкви. Тут у церковной ограды поповские строения. Десятка три мужчин начали выламывать ворота, ворвались во двор и через несколько мгновений оттуда послышались страшные крики и вопли. Вот волокут кого-то…

Люба протиснулась ближе, видит – священник. Он кричит отчаянным голосом, выбиваясь из рук своих мучителей; но никто за него не заступается. Ражий детина схватил его за длинные волосы и повалил на землю. Удар, другой, третий – несчастный священник застонал. Толпа ревет, заглушая его стоны; все спуталось.

Люба, дрожа и затыкая себе уши, с исказившимся от страха лицом, бросилась к церкви.

Вся паперть полна народу; выламывают тяжелые двери.

– Да на крышу, на крышу-то полезайте! – кричат несколько голосов. – На главы церковные!

– Воды, воды давайте, обмывайте кресты водою, ведь опоганили, все опоганили антихристы!..

Тащат откуда-то лестницу и взбираются на крышу с ушатом воды.

Прошло несколько минут; церковные двери выломаны, толпа ввалилась в церковь, и в то же мгновение раздался пронзительный звон во все колокола.

Люба, чуть не сбитая с ног толпой, сама не заметила, как очутилась в церкви.

Между тем вечер надвигался больше и больше, и в церкви было уже совсем темно.

Но вот кто-то зажег лампаду, вот загорелась другая, и внутренность храма осветилась.

Люба стояла, прислонясь к стене, едва держась на ногах от усталости и ужаса, который увеличивался еще тем, что она не могла взять в толк того, куда она попала. Что это такое? И что с нею будет? Она ясно только видела одно, что теперь невозможно ни с кем разговаривать, ни у кого ничего спрашивать; нужно только притаиться, чтобы как-нибудь ее не заметили, – в этом только и спасенье.

Люди, наполнявшие церковь, продолжали голосить и браниться.

В церкви были женщины, и мужики, и люди в монашеском платье.

Прежде всего они начали расплескивать всюду воду, потом схватили мочалки, принялись обмывать церковь.

А это что такое? Какой-то монах выбивает прикрепленную к стене икону, несколько человек подбегают к нему на помощь, икона выбита, брошена на пол, ее топчут ногами.

Люба смотрит, не веря глазам своим – никогда она не видала в жизни своей такого богомерзкого дела, даже никогда не думала, что оно возможно: святую икону топтать ногами!

И будто в ответ на ее мысли раздаются дикие возгласы:

– Топчи, плюй на поганую доску! То не икона, то дьявольское писание! Мойте, мойте скорей святые иконы старого писания!

Люба ничего не понимает. А толпа продолжает бесчинствовать.

– Плюйте на пол!

Но тут новые крики и визг в другой стороне церкви обращают на себя внимание Любы.

Две какие-то женщины положительно беснуются: падают на пол, потом поднимаются, сбили с себя головные уборы, растрепали волосы, вырывают их прядями, царапают себе лица и визжат не своим голосом. Им очищают место и смотрят на них с благоговением.

– Дух, дух в них вселился! – шепчут некоторые. – Вот сейчас заговорит их устами…

Женщины мало-помалу утихают и начинают что-то говорить, но сначала разобрать ничего невозможно. Слова их отрывисты и перемежаются дикими взвизгиваниями.

– Вон попов антихристовых! – наконец уже явственно кричит одна из женщин. – Вон их всех к дьяволу, чтоб не смели переступать святого порога. Божьи люди, не отдавайте врагам церковь, не выходите! Пусть Василий Мыло священнодействует!

– Василий Мыло! Василий Мыло! – раздается по церкви десятками голосов, и толпа вытаскивает из себя маленького взъерошенного старика, в одежде дьячка, с ощипанной седой бородкой.

– Мыло, тебе священнодействовать! Ты наш учитель! – кричат и мужчины и женщины.

– И буду, и буду, – визгливым голосом в ответ на эти крики повторяет Василий Мыло. – А попов нечистых никонианских к дьяволу в когти! Замыкай двери. Не выходи никто – здесь ночевать будем, не покинем святой церкви!

– Вестимо, не покинем, – отвечают многие.

И слышно, как замыкают двери. Люба вздрогнула всем телом. Уйти теперь отсюда невозможно. Еще мгновение – и она почувствовала, как голова у нее кружится, все предметы сливаются, находит какое-то забытье странное. Беззвучно соскользнула она на пол в темном уголке церковного придела и потеряла сознание.

VI

Прошло немало времени, а Люба все лежит, не шелохнется, будто мертвая. Люди, наполняющие церковь, заняты своим делом и в фанатическом возбуждении ничего не видят, ничего не слышат.

Мужики и бабы суетятся, толкаясь и снуя по церкви; не раз натыкались на Любу, но никому и в голову не пришло рассмотреть, кто это такой лежит без движения: живой человек или мертвый и откуда он взялся.

Наконец от чьего-то сильного толчка и чьей-то в темноте наступившей на нее ноги очнулась Люба.

В первое мгновение она ничего не понимала, не могла сообразить, где она и что с нею. Ей казалось, что она грезит, что перед нею не явь, а сон безобразный, тревожный, но мало-помалу стали проясняться ее мысли. Она все вспомнила и приподнялась с полу. Ее болезненная слабость прошла…

В церкви тишина. Народ угомонился, засветили все до одной лампады; Василий Мыло начал службу.

Раздалось разноголосое, нестройное пение под церковными сводами.

Люба тихонько пробралась к дверям, думая, что, может быть, они не на запор заперты и ей удастся как-нибудь проскользнуть на паперть.

Она была уже у самых дверей, когда снаружи раздался сильный стук.

– Кто там? Кто стучит? – спросило несколько голосов из церкви.

– Это мы, с колокольни, впустите святую службу прослушать!

Голос, видно, оказался знакомым, потому что два человека стали отпирать двери.

Люба подвинулась ближе. Вот половину дверей приотворили, вошло несколько человек, сейчас опять запрут, и уж тогда до утра невозможно будет вырваться отсюда.

«Господи, благослови», – сказала про себя Люба и, сама не помня как, проскользнула в готовую захлопнуться дверь, очутилась на паперти и кинулась бежать от церкви.

Но, пробежав минут пять, она остановилась.

Ночь темная, хоть и видимо-невидимо звезд на небе высыпало. Что делать? Первою мыслью Любы было бежать скорей из Медведкова, опять на большую московскую дорогу, подальше от этого страшного, непонятного места, где такие неслыханные чудеса творятся.

Но как же ей бежать? Положим, у нее в котомке большой кусок хлеба, данный ей еще в Суздале Федюшкою; снегу всюду много, можно утолить жажду, но дело не в питье и пище, а в усталости и страхе. Идти всю ночь – сил нет, да и смелости не хватит, а лечь где-нибудь в поле на снег и постараться заснуть – такая ночевка еще страшней.

– Кто стоит? Что за человек? – вдруг раздалось почти у самого уха Любы.

Она задрожала всем телом, разглядев в темноте две рослые мужские фигуры. Бежать – словят и погубят; молчать – то же самое. Но что же говорить? Что им ответить?

– Что за человек? Язык проглотил, что ли? – опять раздается страшный голос, и сильная рука схватывает Любу за ворот.

– Да я к Лукьяну, – бессознательно проговорила Люба, – только пройти вот как – не знаю.

– Откуда ж ты, мальчонко? Из васильевских, что ли?

– Да, я пришел с Василием Мылом, – сама не веря своей смелости, ответила Люба. – Вот меня к Лукьяну послали из церкви, да дороги к избе его не знаю.

– Михай, проводи парня-то – тебе по пути, а то и впрямь он тут в темноте плутать будет, – сказал один из мужиков, тот самый, который держал Любу за ворот.

– Ладно, – ответил другой голос, – иди, что ли!

Люба последовала за своим неизвестным вожаком и скоро очутилась на одной из улиц Медведкова.

Тут было совершенно тихо. Люди заперлись в избы, бродили только собаки, по временам заливаясь оглушительным лаем.

Наконец мужик остановился около одной просторной избы.

– Вот тебе и Лукьяново жилье, – сказал он. – Постучись, он, чай, не спит. Где теперь спать – не до спанья.

– Спасибо, родимый, – прошептала Люба и стала стучать в ворота.

На дворе залаяли собаки, и через несколько мгновений послышался скрип шагов по снегу.

Ворота растворились.

– Кто стучит?

– К Лукьяну надоть, – стараясь придать как можно более грубости своему голосу, ответила Люба, а сама крестилась и мысленно повторяла слова первой пришедшей в голову молитвы.

– Чего тебе? – спросил довольно приятный старческий голос.

– Лукьяна, говорю, Лукьяна! – уже почти со слезами и, чувствуя, что снова у нее подкашиваются ноги, прошептала Люба. – Ты ли Лукьян?

– Да я, а то кто же?

– Лукьян, батюшка, милостивец, спаси меня, защити!

Люба упала на колени перед отворившим ей ворота человеком и хватала его за платье.

– Да стой! Что ты? Откуда? Поди сюда, ничего не разберу – темень-то, вишь, какая. Девка ты, что ли?

– Нет, не девка – парень. Спаси меня, Лукьянушка, не то пропала моя голова… Куда я теперь денусь?

– Иди в избу. Что там такое? Невдомек мне, – проговорил Лукьян, запирая за собою ворота.

Не помня себя, Люба вошла в избу и невольно зажмурилась от яркого света горевшей лучины.

Когда она немного успокоилась, то увидела, что находится в просторной и чистой клети, а перед нею стоит старик с длинной седой бородой, с большим красноватым, но добрым, сразу располагающим лицом.

С изумлением глядел этот старик на Любу, очевидно, дивясь, откуда это забрался к нему такой красавец мальчик.

Люба молчала, чувствовала, что говорить нужно, но не могла произнести ни слова. Вся ее необыкновенная смелость исчезла. Она чувствовала себя теперь совсем беспомощным, вконец замученным и запуганным ребенком. Ей необходимо было спрятаться под чье-нибудь сильное крыло, прижаться к человеку, который мог бы защитить ее.

Она уже не в силах была играть свою смелую мужскую роль. Неудержимо, громко зарыдала она и только сквозь рыдания повторяла:

– Спаси меня, спаси!

Лукьян, стараясь ее успокоить, посадил на лавку. Он понял, что в таком состоянии этот, очевидно, чем-то сильно перепуганный паренек ничего не может теперь объяснить ему.

Скоро ласковый и ободряющий голос старика подействовал на Любу, и она, наконец, в силах была заговорить.

Она передала вымышленную свою историю: сказала, что послана к нему в Медведково старым Еремеем, что живет у Мурьина леса, рассказала, как попала в сумятицу и что ничего не понимает.

Лукьян внимательно ее слушал и пристально глядел на нее, стараясь сообразить, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Но какой подвох может быть от этого мальчика? – Люба говорила так искренно.

– Ишь ты! – наконец вымолвил Лукьян и снова улыбнулся. – Чего же это ты так перепугался, трусишка?

– Да как же не перепугаться, дедушка? Ничего не понимаю, скажи, Христа ради, что все это значит? Что тут у вас делается?

– Сказать… ну калякать-то с тобой мне некогда. Там вон мои бабы не спят еще, так накормят тебя; ведь ты, должно, отощал больно, – ну и толкуй там с ними. А мне и спать пора – замаялся!..

Он подошел к маленькой дверце, ведшей в соседнее помещение, и крикнул:

– Мавра, Федосья! Вот накормите прохожего парнишку… Ступай сюда, здесь теплее, – обратился он к Любе, почти втолкнул ее в дверцу, а сам остался в клети.

VII

Баб, с которыми очутилась Люба, было две. Одна из них уже старуха, хозяйка Лукьянова – Мавра, а другая – Федосья, молодая, красивая бабенка, сноха его.

Они сидели в углу на лавке; у обеих лица были встревожены. Несмотря на позднее время, для спанья не было никаких приготовлений.

Женщины с изумлением взглянули на Любу и тотчас приступили с расспросами. – Кто? Откуда? Куда?

Люба, уже оправившаяся от страха своего и волнения, отвечала им обстоятельно. Она сняла с себя шапку; ее голова оказалась обвязанной таким образом, что невозможно было разглядеть длинных волос ее. Коса была пропущена под кафтан. Убегая из перхуловского дома она не успела обрезать себе волосы, да если б и было время, так вряд ли обрезала бы – и жалко, и чересчур уж зазорно.

Она решилась до самой Москвы, до тех пор, пока не предстанет пред ясные очи Царь-девицы, не развязывать головы и при случае ссылаться на сильную головную боль или отмороженные уши.

Так она и теперь сделала, и ее ответ не показался странным, так как, конечно, ни Мавре, ни Федосье не могло прийти в мысль, что перед ними переодетая девушка.

Отвечая на вопросы своих собеседниц, выдумывая им про себя разные истории, Люба едва сдерживала свое нетерпение. Она не в силах была больше находиться в неизвестности, должна же была, наконец, узнать, что такое творится в Медведкове и в какую это кутерьму она попала.

Наконец Лукьяновы бабы решились удовлетворить ее любопытство и стали ей говорить, перебивая друг друга.

Долго ничего она не могла понять из их рассказов, но все же в конце концов кое-как добилась смысла.

Она узнала, что на Медведково навалились раскольщики, что их многое множество в земле русской и что стоят они за старую веру, которую исказили

никонианцы.

В вопросах религиозных Мавра и Федосья оказались очень несмышлеными – не могли объяснить Любе, в чем, собственно, дело, в чем разница между старой верой и новой, которую приняли и царь, и бояре, и большая часть народа русского.

– Кто их знает, может, и верно они толкуют, раскольщики, – говорила Мавра. – Точно ведь, как подумаешь – все была вот одна вера православная, – и прежде нас жили люди, да не были же погаными нехристями, умели чтить Бога, и коли бы старая-то вера была неправая, то как все великие святители могли спастись ею?.. А и то рассуждать нужно, – продолжала Мавра, помолчав, – что не будь изъяну какого в старых книгах, с чего бы их отринули и царь, и бояре с патриархом? Темно тут, парень, не распознаешься – не нашего глупого бабьего ума это дело. Вот и Лукьян мой, даром, что землю пашет, а человек бывалый и обучен от писания, в Москве по годам живал, так он говорит, что раскольщики не путно толкуют и по его так выходит, будто истинная, настоящая-то старая вера и есть теперешняя, новая, а их, раскольщиков-то, совсем не старая, а одно затемнение от дьявола исходящее…

Люба внимательно прислушивалась к словам этим, но не могла ничего в толк взять: «Как это такое: старая вера – новая, а новая – старая?» Эх, вот Лукьяна-то нет, он бы рассказал потолковее!

Необыкновенно заинтересовал Любу вопрос о старой и новой вере, так заинтересовал, что она даже, раздумывая об этом, позабыла про свое тяжелое положение, про все страхи.

А Мавра продолжала говорить.

Она горько жаловалась на раскольщиков. Правы ли они там, или виноваты в своей вере, а все же до них жилось в Медведкове благополучно – тишь да гладь, да Божья благодать, – а как стали они показываться – и пошла беда за бедою. Сначала, с год тому будет времени, приходил какой-то старик, остановился в избе у одного медведковского крестьянина, начал собирать вокруг себя народ, толковать о вере, в раскол подговаривать. Кто не послушался его, а кто и послушался: и таких в Медведкове, что стали раскольщиками, собралось немало.

За стариком и другие разные люди стали в Медведково наведываться. Придут, поживут, намутят, Да каждый раз то тех, то других из медведковских с собою в лес сманят – раскол-то больше все по лесам живет. Про все как есть, что там в лесах деется, Лукьяну рассказывал при Мавре один медведковец, Данило, что ушел с раскольщиками, да и опять вернулся восвояси – рассказывал, что верст с пятьдесят от Медведкова есть река, а за рекой лес дикий, большущий. Кругом болота да дряби: на лошадях в том лесу проехать невозможно. В лесу, за рекою, настроено келий десятка с два, и живет в них начальник раскольнический, чернец из Соловецкой обители, Митрофан прозывается. В сборе у того чернеца раскольщиков из разных городов и мест мужского пола, женок, девок и стариц человек с два ста будет. Кельи стоят врознь на большом расстоянии, а на реке, против тех келий, построена мельница; настроены также малые хороминки на столбах, и в них хлеб держат; а пашут раскольщики без лошадей и землю размягчают железными кокотами.

Много чудного рассказывал Лукьяну Данило про житье раскольщиков, а всего чуднее то, что к чернецу Митрофану приходят на исповедь, и он всех исповедует и причащает: возьмет ягоду бруснику и муки ржаной или пшеничной, смешает все вместе, тем и причащает.

Только прежде, хоть и постоянно приходили в Медведково раскольщики, но все больше или в одиночку, или человека три-четыре, а теперь, неведомо откуда, целая орава навалила и вот уж с неделю здесь бесчинствуют. Попов похватали и замучили; церковью завладели. Больше половины медведковцев их сторону держат, да и остальные, в том числе и Лукьян, не смеют возвысить голоса, не пристают к ним да и не противятся, потому: что ты с ними поделаешь? Одна на них хитрость осталась; и вот отправил Лукьян своего сына, мужа Федосьи, на Москву сказать, что так, мол, и так, чтоб не дали Медведкова в обиду. Теперь ждут не дождутся возвращения Димитрия – это сын-то Лукьяна – Москва не ахти как далеко, а он на коне погнал – коли с ним в пути недоброе что случилось, али словам его не поверили, то неведомо, чем у них в Медведкове и кончится. Раскольщики, да и многие медведковцы совсем голову потеряли: ровно звери сделались, того и жди пойдет поножовщина…

Остановив на этом свой рассказ, Мавра оперлась головою на руки и заплакала.

– Время, время вернуться Митрию, ан все нет его, соколика! Чует мое сердце – недоброе с ним!..

Мавра начала все громче и громче всхлипывать. Глядя на нее, заревела и Федосья…

Несколько успокоившись, бабы объявили, что, может, и всю ночь так просидят не раздеваясь – не до сна им, а Любе предложили переночевать в каморке.

Она с радостью согласилась на это и, повалившись на кучу сена, скоро заснула крепким сном. Проспала бы она, может быть, и бог весть сколько, но утром разбудила ее Федосья.

– Вставай, вставай! Ишь заспался! – говорила бабенка. – Слышь, Митрий вернулся с царскими стрельцами: теперь пойдет суд и расправа. Ахти нам, святители, что-то будет?

Люба вскочила и поспешила выбраться из каморки. Она теперь чувствовала себя бодрой и крепкой; каждая жилка в ней играла.

И не думая ни о каких опасностях, бросилась она из избы Лукьяновой во двор, а оттуда за ворота посмотреть на стрельцов царских, что из Москвы прибыли.

Народ валил по улицам к церкви, вокруг которой расположилось войско.

Утро было солнечное, ясное. Начиналась сильная оттепель.

Издали увидела Люба стрельцов, вооружение которых блестело на солнце.

– Что ж теперь будет? – невольно спросила она у бежавшего рядом с нею мужика.

– А кто их знает! Раскольщики-то, вишь, – и пришлые, и наши – с Василием Мылом церковь-то оставили да заперлись в крайних избах. Десять дворов ими занято – вон, вишь, вишь, стрельцы-то дворы окружают!

Действительно, скоро все дворы, занятые раскольниками, были со всех сторон окружены войском.

Люба бежала все шибче и шибче.

– Куда ты? Назад! – наконец остановил ее один стрелец.

Она послушалась и стала оглядываться.

В двух шагах от нее молодой, статный воин. Он говорит что-то другим, видно, распоряжается. Лицо его, озаренное солнцем, показалось Любе красоты неописанной.

– Вишь ты, молодой какой парень, а им всем он голова, значит! – услышала она позади себя.

Слова эти, конечно, относились к красивому воину.

Люба так и впилась в него глазами.

– Незачем кровь проливать человеческую, – говорил воин, – нужно их живьем перехватать. Ломайте, что ли, ворота!

Несколько стрельцов кинулись к воротам, но в ту же минуту со двора послышался выстрел.

– О, да они с пищалями! – проговорил стрелецкий начальник и подошел к самой избе.

– Отворяйте ворота! – закричал он звучным голосом. – Палить нечего – у нас у самих пищалей много, с нами не справитесь; а за кровь каждого царского стрельца большой ответ с вас будет. Добром отворяйте!

Прошло несколько мгновений – никто не отвечал ему. Но вот из избы послышались дикие крики.

– Не отворим! Не отворим антихристу и его воям! Вы кто? Нечто христиане?

Вслед за этими словами раздались из избы всякие бранные речи, хула на церковь и четвероконечный крест…

– Нет, видно, с ними ничего не поделаешь! – печальным голосом, отходя от избы, сказал стрелецкий начальник. – Ломай избы! Ломись во все дворы, где они засели! – обратился он к окружавшим его стрельцам. Те передали его приказание товарищам, и скоро начался дружный натиск.

Во многих избах раздалось несколько выстрелов, потом все как бы стихло.

Мгновение… и вдруг дикий крик ужаса пронесся над собравшейся толпой крестьян медведковских и повторился стрельцами.

Из одной избы, в которой сидели раскольники, повалил дым. Дым все гуще и гуще – вот показался и огонь. Вот загорается и другая изба; всеобщее смятение, гул стоит… Стрельцы ломятся в ворота, но навстречу им раздаются выстрелы, навстречу им мчатся клубы удушливого дыма и пламени.

Деревянное строение, крытое соломой, горит быстро. Скоро ничего не видно, не слышно – все слилось в общем гуле и дыме. Толпа отхлынула от изб, за нею и стрельцы, видя бесполезность своих усилий. Но не показывался ни один из засевших в избах: поборники старой веры все до единого решились погибнуть в пламени, спасти свои души самосожжением.

VIII

Прежде чем перепуганные жители Медведкова и стрельцы очнулись и решились принять какие-нибудь меры против пожара, все подожженные избы горели, как свечи. Оставалось только спасать соседние строения. По всему селу гул стоял от стонов и воплей.

Только что медведковцы начали мало-помалу успокаиваться, убедясь в том, что пожар не будет больше распространяться, оказалось, новая беда: от незваных гостей раскольщиков избавились, так другие, званые, гости что-то не совсем ладно начали вести себя.

Стрельцы разбрелись по избам и стали в них хозяйничать. Сейчас же потребовали себе вина, перепились, начали буянить, а в иных избах произвели даже грабеж. Народ вздумал было жаловаться на них сотникам и пятидесятникам, но те только смеялись на эти жалобы, сами же подзадоривали

своих подчиненных, конечно, чуя себе львиную долю в награбленном.

Один только подполковник стрелецкий, Николай Степанович Малыгин, тот самый, красота которого так поразила Любу, внимательно выслушивал жалобы, отдавал стрельцам приказания вести себя как следует: не брать ничего чужого и готовиться в поход обратно.

Но он мог приказывать, кричать, сколько ему угодно, – его плохо слушались. Под конец он даже услышал от некоторых опьяненных стрельцов такую брань себе, что должен был отойти в сторону и притвориться глухим, чтобы не уронить своего достоинства.

Дисциплины между стрельцами в то время не было почти никакой. Стрелецкое войско, учрежденное Иваном IV, к концу царствования Алексея Михайловича пользовалось очень дурной репутацией.

Вследствие бедности казны стрельцы получали мало жалованья, а потому промышляли себе все необходимое самыми непозволительными способами: грабежом и вымогательством.

Полковники стрелецкие тоже не могли внушать к себе в подчиненных уважения; помышляя только о наживе, они заставляли своих стрельцов на себя работать. Долгое время стрельцы сносили терпеливо несправедливости начальства, но в последнее время в них стал пробуждаться с каждым годом все сильнее и сильнее новый дух: они делались смелее и самовольнее и, наконец, начали нередко подавать даже жалобы на полковников.

Подполковника Малыгина подчиненные ему стрельцы довольно жаловали – он всегда был с ними добр, не позволял себе никаких несправедливостей, но теперь он должен был видеть, на каких слабых основаниях держится власть его. Стоит ему приказать что-либо неугодное расходившимся стрельцам – и они, пожалуй, не задумаются даже перед насилием.

Благоразумие взяло верх над остальными соображениями, и Малыгин, видя свое бессилие, видя полную невозможность остановить грабеж и буйство, производимые стрельцами, только старался как можно скорее выбраться из Медведкова и пуститься обратно в Москву. Наконец, через несколько часов ему удалось собрать полк.

Между тем Люба, убежав от страшного зрелища пожара в избу Лукьяна и отдохнув там, простилась со своими хозяевами, сказав, что ей пора в дорогу и что она постарается примкнуть к стрельцам.

Действительно, она отыскала подполковника Малыгина, подошла к нему и поклонилась ему почти в ноги.

– Чего тебе? – спросил Николай Степанович, и в то же время взгляд его с изумлением остановился на лице ее.

«Что за мальчик такой! – подумал он. – Красота какая!»

Люба объяснила ему, что идет в Москву да вот попала в Медведково, в самую передрягу, так что целый день потеряла.

– Уж очень путь далек да труден, – говорила она, – так не будет ли твоей милости, господин полковник, не позволишь ли мне с вами доехать? Боюсь, измаюсь очень и ко времени в Москву не поспею.

Стрельцы понаехали с большими обозами, и, конечно, для Любы было место.

Малыгин согласился взять ее с собою. К тому же он сразу почувствовал что-то странное, какое-то необъяснимое влечение к этому красавцу мальчику. Да и Люба, со своей стороны, глядела на него такими умильными глазами, а, говоря с ним, краснела, как маков цвет.

Меньше чем через час стрелецкий обоз выезжал из Медведкова.

Люба поместилась на одном из возов, довольно смело переговаривалась с обращавшимися к ней стрельцами, но нельзя сказать, чтоб на душе у нее было легко и весело.

Совсем не такою вышла она из Суздаля. Впечатления этих трех дней ее странствия были неожиданны и тяжелы для нее. Теперь она начинала бояться многого, что прежде и в голову ей не входило.

Отвечая стрельцам на их вопросы и шуточки, она в то же время тихомолком и пугливо озиралась во все стороны и искала глазами Малыгина, инстинктивно чуя в нем своего защитника.

Однако ничего особенно неприятного с ней не случилось; стрельцы скоро ее оставили в покое.

Когда смерклось, стали поговаривать о ночлеге и решили остановиться переночевать в одном селении, до которого оставалось не более десятка верст.

Малыгин с радостью бы постарался избегнуть этой ночевки, предвидя новые бесчинства стрельцов, но делать было нечего – царское войско исполнило свою обязанность, усмирило раскольщиков в Медведкове и теперь имело право требовать себе льготы.

Малыгин ограничился тем, что красноречиво стал внушать сотским и пятидесятникам о необходимости вести себя смирно, как подобает царскому войску.

– Да уж ладно, ладно, – отвечали ему, – не бойся, батько, – ничего худого не будет!

Большинство стрельцов уже успело окончательно вытрезвиться дорогой, и все они находились теперь в мирном и спокойном настроении.

Прибывши в назначенное для ночлега селение, стрельцы довольно тихо разошлись по избам. Хозяева не без страха, но беспрекословно начали отводить им помещение.

– А ты, парень, где же ночевать будешь? Пойдем-ка со мною! – раздался во тьме над Любой уже знакомый ей голос, от которого она невольно вздрогнула.

Она молча последовала за Малыгиным.

Подполковнику отвели чистую клеть в самой просторной избе.

Он велел поярче засветить лучину и подать чего-нибудь съестного.

– Придвинься и ты, – сказал он Любе, тихо сидевшей в уголку на лавке, – чай, проголодался!

Люба подошла.

– Да что это у тебя голова-то обвязана? – спросил Малыгин, опять невольно засматриваясь на лицо неведомого мальчика.

Люба начала робким голосом повторять свою историю об отмороженных ушах и головной боли, но теперь почему-то, всегда так смело и ловко выходившая из всяких напастей, она чувствовала в себе необычайное смущение. Она видела, что этот красавец воин глядит на нее не отрываясь и что в его добрых и светлых глазах теперь видна какая-то недоверчивость, какое-то подозрение.

И она невольно терялась под его пытливым взором, и опускала свои длинные ресницы, и краснела, и заминалась в разговоре.

– Нет, ты, мальчишка, что-то путаешь! – наконец, качая головою, заметил Малыгин. – Тут что-то неладно – уж не из беглых ли ты, а, пожалуй, и еще того хуже? Лучше говори все прямо, повинись…

– Да, право же, я не лгу, все так и есть, как сказываю, – прошептала Люба дрожащим голосом и чувствуя, что совершенно теряется, что все пропало, что вот-вот сейчас она зарыдает.

«Признаться ему, – думала она. – Но, боже, разве это возможно? Что с ней будет, если она признается? Да, он кажется добрым, хорошим; таким показался ей и с первой минуты – но нет, все же невозможно признаться – этим признанием она себя погубит».

А он продолжал глядеть на нее пытливо, и качать головою, и усмехаться, а то вдруг сморщит брови, строго так поведет глазами, пугает…

В клети тихо; они одни. Только трещит и вспыхивает неровно мерцающим светом лучина.

– Это вот и голова-то у тебя подвязана, – опять заговорил Малыгин, – уж полно – нет ли на ней знаков каких?

Он сказал слова эти просто шутки ради, но Люба так вздрогнула и так испуганно взглянула на него, что он замолчал и сразу понял, что, очевидно, напал на что-то. Недаром этот хорошенький мальчик произвел на него какое-то странное впечатление и во всю дорогу от Медведкова не выходил из головы его. Есть что-то непонятное в мальчике… А вот теперь как испугался!

– Сними-ка повязку, – сказал Малыгин, – хоть и отмороженные уши, да авось не отвалятся.

Люба слабо вскрикнула и инстинктивно схватилась за голову.

«Что ж у него на голове такое?» – подумал Малыгин, и, прежде чем Люба опомнилась, он твердой, сильной рукою отстранил ее дрожащие и похолодевшие руки, сдернул повязку, пристально вгляделся, отступил от нее на шаг и несколько мгновений простоял перед ней неподвижно, с широко раскрытыми глазами, будучи не в силах прийти в себя от изумления.

Наконец рука его снова протянулась к голове Любы. Еще одно мгновение – и он высвободил из-под кафтана длинную девическую косу.

Люба упала головой на стол и судорожно зарыдала.

Долго еще стоял стрелецкий подполковник перед чудным мальчиком, превратившимся в красивую девушку, и не знал, что ему теперь делать.

– Да перестань же, перестань, чего плакать! – наконец выговорил он, силясь приподнять ее голову.

Но она не унималась.

– Не губи меня – я никому зла не сделала, – расслышал он тихий ее шепот.

– Да бог с тобой, красная девица, – не знаю, как величать тебя, – никакого зла я тебе не желаю. За что мне губить тебя? Только чудно все это больно, в себя

прийти не могу, очам своим не верю. Откуда ты взялась, красавица? Поведай мне, как это мальчиком на московской дороге очутилась? Какого рода – племени? Отродясь я таких дел не слыхивал!

Люба мало-помалу приподняла свою голову и взглянула на него заплаканными глазами.

Ничего дурного не прочла она на красивом лице его – одно смущение.

– Не погубишь? Не выдашь? – проговорила она.

– Вот те Христос – не выдам!

И она поверила.

Спешно спрятала Люба опять за кафтан свою косу, спешно закутала голову платком и начала рассказывать Малыгину. Уже не таясь от него и не скрываясь, рассказала всю свою подноготную, а он слушал, едва приходя в себя от изумления, дивясь на неслыханную, непонятную смелость этой девушки, но ни на минуту не заподозрил теперь ее искренности.

Он был молод и сразу оказался под обаянием красоты ее, и даже в голову ему не пришло винить Любу за ее поступок, столь несвойственный ее полу. Он только жалел ее, слушая рассказ о несправедливостях и обидах, которым она подвергалась в перхуловском доме.

Но вот Люба замолчала, говорить ей больше нечего.

– Чудная ты, красавица, – проговорил Малыгин, – и как это ты такая родилась? Видно, и впрямь перст Божий указал тебе путь твой, видно, так и нужно было, чтоб сошлись мы с тобою на большой дороге. Не встреться ты с нами – как бы еще добралась до Москвы, да и там куда бы девалась? Смела ты, правда, смелее иного молодца, да про всякую смелость-то ведь и беда ходит неминучая. А и то сказать, попадись ты не мне, а кому другому, то вволю наплакалась бы. Но, Христом Богом клянусь тебе, я тебя не выдам, стану беречь, как сестру родную, и доставлю тебя к твоей Царь-девице.

– А ты знаешь ее, царевну? Видал? – дрожа всем телом и сверкая глазами, спросила Люба.

– Видал, знаю.

– Что ж она? Какая?

– Да вот такая же, как ты, – ответил он, улыбаясь. – И красотою и смелостью вы с ней поспорите. Вся Москва дивится на царевну Софью: много хвалят ее, а корят еще больше, потому – живет она по-своему, не стыдится того, что других девушек в краску вводит. Недаром ты, сударыня Любушка, ее, царевну, во сне видывала – свое к своему поневоле влечется. Так вот что я скажу тебе, порадую: есть у меня прямой к царевне доступ – постельница ее мне знакома, а та постельница близкий к ней человек. Через нее и ты доберешься до царевны, а пока будь уж мальчиком, в целости на Москву тебя доставим.

– Как мне и благодарить тебя – не знаю, государь ты мой, Николай Степанович! – с чувством выговорила Люба, вставая с лавки и земно кланяясь подполковнику. – Поверила я тебе, как Господу Царю Небесному, и знаю, что ты точно меня не выдашь. Денно и нощно буду за тебя молиться… И правду ты молвил, видно, Господь сжалился надо мною, что привел меня к тебе, а не к другому. Что ж, обидеть меня недолго. Смела, ты говоришь, я, пускай так, да что в нашей смелости, когда она до поры до времени, а придет тяжкая минута, и словно как не бывало этой смелости: дрожь возьмет, слезы сами брызнут – и всякий тебя обидит…

И подполковник и Люба в своей горячей, неожиданной беседе не замечали, как идет время, а время шло быстро. Глубокая ночь над землею, спать пора. Завтра рано выступать в поход нужно, но им спать не хочется. Новое волнение охватило Любу, и не знает она, что с ней такое – явь ли то, или сон волшебный, каких немало ей грезилось и прежде, в тишине и темноте ее маленькой суздальской каморки.

Слишком много всяких впечатлений и волнений пробежало в эти дни над головой и сердцем семнадцатилетней Любы, трудно с ними справиться, а тут еще новое что-то закралось в нее, что-то жуткое и сладкое, что растет с каждой минутой, что сказывается тайным, доселе неведомым трепетом при каждом взгляде Николая Степановича, при каждом звуке его голоса.

А сам он, молодой стрелецкий подполковник, тоже готов просидеть всю ночь напролет и, не отрываясь, глядеть на эту непонятную красавицу, которая сразу заворожила, заколдовала его, вынула его сердце.

Только под самое уж утро заснул он, прикорнув на лавке, заснул только тогда, когда они досыта наговорились и когда из уголка клетки, где прилегла Люба, раздалось ее мерное, сонное дыхание.

Недолго пришлось им поспать, часа с три каких-нибудь, но в это малое время много всяких грез и сновидений пронеслось над их молодыми головами.

Любе грезились все дива дивные, грезился терем Царь-девицы – это были старые, знакомые ей сны, но к ним теперь примешивалось что-то новое. Рядом с чудным образом Царь-девицы мелькал пред Любой новый образ нежданного ее друга, молодца красавца, стрелецкого подполковника.

А Николаю Степановичу не снились ни терема, ни царевны, не снилось ничего неведомого и волшебного. Видно, никакой силы не было у его воображения, потому что снилось ему только то, что и наяву было в двух шагах от него, – снилось заплаканное лицо Любы.

IX

Малыгин исполнил свое обещание, данное Любе: всю остальную дорогу он хранил ее, как зеницу ока, хотя и старался не показывать виду окружавшим, что обращает особенное внимание на «парнишку». Но где бы он ни был – далеко ли от того воза, на котором сидела Люба, или возле – она чувствовала, что его зоркий глаз следит за нею и что при малейшей опасности ей будет защитник. И ей отрадно было это сознание, эта уверенность в его помощи.

Она держала себя непринужденно: сама не навязывалась, конечно, стрельцам с разговорами, но если с ней заговаривали, отвечала охотно и весело. Только с приближением к Москве в ней начинало сказываться все большее и большее волнение. Ее щеки то вспыхивали, то бледнели. Она начала задумываться, иной раз невпопад отвечала на обращенные к ней фразы, но только стрельцы ничего этого не заметили – какое им было дело до «парнишки».

Вот и Москва. Сердце Любы тревожно забилось, она приподнялась на возу и вперила блестящий, зоркий взгляд перед собою. Утреннее солнце заливало светом окрестность. На голубом небе все яснее и яснее вырезались городские строения. У Любы дух захватило от чудной, невиданной картины, которая ей представилась: они тогда въехали на пригорок, и сразу вся Москва открылась перед ними.

Громадный, бесконечный город чернелся десятками тысяч домов, среди которых, по всем направлениям, высились каменные церкви и сверкали на солнце своими золочеными куполами. А посреди города восставало что-то дивное, таинственное.

– Это что такое? – с дрожью в голосе спросила Люба.

– Кремль, – ответили ей.

И она не могла оторваться от белой каменной твердыни, которая часто давно уж являлась ей в грезах. Но ее грезы оказались бледными перед действительностью: башни, церкви и, наконец, громадная белая колокольня Ивана Великого, купол которой казался Любе огромным золотым шаром, казался вторым, взошедшим на небе солнцем…

Чудное жилище, достойное Царь-девицы! Любе захотелось скорее сейчас туда. Но это было невозможно – стрельцы не въехали даже в черту города и остановились в одной из слобод, где были дома их.

Малыгин проводил Любу к себе в дом, а сам отправился отдавать отчет начальству в возложенном на него поручении.

Не без сердечного замирания стала дожидаться Люба своего нового друга и рада была радешенька, что он человек одинокий, что некому ее теперь расспрашивать. Ей хотелось остаться одной, сообразить в тишине и на свободе все, что ей предстояло…

Она одна. Она замкнулась в светлой, чисто прибранной горнице, которую указал ей Малыгин. Никто ее не тревожит, а между тем не может собраться она с мыслями – какая-то одурь нашла на нее: вместо мыслей в голове что-то странное, спутанное, что мечется перед нею. Хочет Люба схватить на лету одну

мысль, а она не дается, заменяется другою, но и та тоже спешит вслед первой. А время идет не видно и не слышно, и не знает Люба, сколько прошло его, скоро ли вернется Малыгин и с какими вестями.

Малыгин вернулся нескоро, часов через пять, уже под вечер. Подошел к двери, окликнул Любу – та не отзывается, стал стучаться – не слышит.

«Ахти! Уж не случилось ли чего с нею? Упаси Господи!» – испуганно подумал молодой подполковник и побледнел даже. Рванул дверь, и, от усилия его крепкой руки чуть не соскочив с петель, дверь распахнулась.

Малыгин вошел в горницу, видит – Люба лежит как была, в своем кафтане, с закутанной платком головою, лежит не шевелится.

С почти остановившимся от страха сердцем подошел к ней хозяин.

«А вдруг отдала Богу душу, что тогда?»

Наклонился над нею, нет – жива, жива! Так мирно, сладко дышит, на щеках яркий румянец. Спит красавица и во сне улыбается.

«Слава тебе, Господи!» Отошло от сердца.

Малыгин тихонько склонился над Любой и не решался разбудить ее, долго любовался ее красотою. Вот он нагнулся еще ближе, прислушался, огляделся во все стороны, будто боясь, что кто-нибудь за ним подсматривает, и быстро коснулся щеки Любы своими горячими губами.

Ее мерное дыхание прервалось на мгновение, она шевельнула рукою.

– Вставай, государыня Любушка, вставай! – громким, счастливым голосом заговорил Малыгин, беря ее за руку.

Она очнулась, улыбнулась ему со сна ласковой и нежной улыбкой и поднялась на ноги.

– Ах! Прости ты меня, Николай Степанович, – сказала она, – вот как уснула: ничего не слыхала, видно, устала дорогою.

– Это хорошо – с дороги поспать всегда нужно, – говорил каким-то растерянным голосом хозяин. – Ты-то вот прости меня – оставил я тебя одну, чай, ты проголодалась? Да видит Бог, спешил я, только раньше никак не мог вернуться. По твоему делу был: все устроил.

– Как? Что? Что устроил? – встрепенулась Люба. – Говори, Христа ради, не томи ты меня, Николай Степанович.

– А то устроил, что был во дворце царском, виделся с постельницей царевны, Феодорой, – Родимицей она прозывается, – баба шустрая, разумная, вашего поля ягода, я ее не первый год знаю – ну так вот, рассказал я ей про тебя. Она с радостью взялась за твое дело и обещалась нынче побывать, повидаться с тобой. Да, чай, теперь скоро и будет.

Люба так обрадовалась этой вести, что даже не чувствовала голода, хоть с утра ничего не ела. Как ни угощал ее добрый хозяин разными яствами – от всего она отказывалась, только нетерпеливо ходила из угла в угол да спрашивала, скоро ли придет та постельница.

– Скоро, скоро, – с улыбкою отвечал Малыгин, не спуская глаз со своей нежданной гостьи.

День этот задался для Любы счастливый – не успела она вдоволь намучиться ожиданием, как раздался стук в наружную дверь домика Малыгина, и через несколько мгновений перед смущенной и взволнованной Любой явилась таинственная, так страстно ожидаемая Родимица.

Родимица была молодая вдова, лет двадцати трех, не больше, красивая и стройная, с продолговатыми черными глазами и смуглым лицом, черты и выражение которого сразу указывали на ее южное происхождение: она была украинской казачкой.

Громко смеясь и показывая два ряда белых, крепких зубов, Родимица подошла к Любе, поклонилась ей, потом поцеловала ее в обе щеки.

– Ах ты, мое дитятко, – смеясь, говорила она, – дай-ка посмотреть на тебя. Ишь ты, и впрямь красавица, не обманул Никола; я, признаюсь, ему не поверила было – думала, спьяна болтает. И как это тебя, гарная дивчина, на такое дело диковинное стало, расскажи-ка мне сама, все по ряду, а то Николай-то болтал много, да, може, и от себя выдумал… Хочу тебя слышать, чтоб так, с твоих слов, и передать все государыне-царевне.

Люба принялась рассказывать всю историю. И говорила она на этот раз с радостью и восторгом, а Родимица ее внимательно слушала, сверкая своими черными глазами и только иногда перебивая Любу.

– Ах, бис их дядька, какие злющие! – повторяла она, слушая о притеснениях, испытанных Любою.

– Добре! Добре, Любушка! Вот так, люблю, хорошо ты отделала злющую бабу, жаль, мало волос у ней выдрала! Ишь ты, холопка, бить тебя вздумала, право, жаль, мало ты ее отделала. Уж я бы на твоем месте себя не пожалела, а расписала бы ей образину на память. Ну, да что тут толковать – Богу благодарение, все теперь кончилось! Пускай они хоть какую погоню за тобой посылают, мы тебя не выдадим, а если что, так им достанется – этим Перхуловым. До царя дойдем, ему принесем челобитную, так твои злодеи будут в большом ответе – царь наш батюшка, Федор Алексеевич, милостив да жалостлив, зла такого не стерпит.

– А бог с ними! Бог с ними! – тихо ответила Люба. – Я им ничего дурного не желаю: не жаловаться пошла на них, пусть себе живут как хотят, только бы мне к ним не вернуться, только бы мне теперь увидеть ясные очи царевны.

– Увидишь, увидишь! – ответила Родимица. – Вот и сейчас бы взяла тебя с собою, да только нет – нынче нельзя это сделать, нынче весь вечер у нас комедийное действо, и царевна моя там. А вернется поздно в свой терем и прямо в постель. Взяла бы тебя переночевать я к себе в горницу, да и то неладно – начнутся расспросы: что такое? Зачем? Откуда? Пойдут языки чесать, а я этого страх не люблю, да и доложат как-нибудь не так царевне, дело-то нам и попортят. Уж лучше ты, моя ясочка, останься здесь у Николы, он парень добрый, смирный, авось тебя не забидит, да и голову свою пожалеть должен тоже. А я завтра утром, как проснется царевна, сейчас же обо всем доложу ей, и коли что она прикажет, так и прибегу за тобою.

На том они и порешили.

Прощаясь, Люба крепко обнимала Родимицу, благодарила ее как только умела, и они расстались, очевидно, очень понравившись друг другу.

Люба, не смущаясь, помышляла о том, что должна остаться до завтра в доме Малыгина. Хотя она ничуть не меньше прежнего рвалась к Царь-девице, но все же ей жалко было подумать о том, что придется расстаться с Николаем Степановичем, не видеть его, не слышать его голоса! А что неприлично ей, девице, проводить ночь в доме одинокого и молодого мужчины, она не думала. Она хорошо понимала, что если теперь ей думать о том, что пристало ей и что не пристало, о том, что позволено и что зазорно девушке ее лет, так давно она всеми своими поступками, своим бегством, переодеванием, путешествием в стрелецком обозе заслужила себе позор и такой срам, за который прокляла бы ее мать, если б в живых была.

Но вот ведь ей не душно и не тошно от этого позора, не стыдно в глаза смотреть добрым людям, а напротив, всем в глаза смотреть хочется, хочется всем броситься на шею и рассказать про то, как она счастлива, как широко, привольно, жутко и сладко на душе у нее, как будто она только теперь, только сейчас вышла на свет божий из душного, смрадного подземелья. Так пусть же ее Господь Бог судит за этот срам и позор! Авось он не осудит, а помилует!

Николай Степанович крепко-накрепко запер свой домик, не впускал в него не раз стучавшихся посетителей и до позднего вечера толковал со своей гостьей, отвечал охотно и радостно на все ее вопросы. А вопросов у нее было много – обо всем-то она знать хотела: как здесь живут и что делают.

На ночь он предоставил ей свою спальню, в которой она могла замкнуться, а сам ушел в дальний маленький покойчик.

X

На следующее утро едва Люба успела умыться и Богу помолиться, едва разговелась она с Николаем Степановичем чем Бог послал и выкушала горячего сбитню, как явилась бойкая Родимица, и явилась-то она еще радостнее, еще веселее, чем вчера.

– Собирайся, Любушка, собирайся! – с первого слова заговорила она. – Выгорело твое дело: царевна ждет тебя не дождется. Я еще вчера вечером, как вернулась она с комедийного действа, рассказала ей твою историю, так уж бранила она меня, бранила за то, что не взяла я тебя с собою. Хотела даже обратно посылать меня… Едва я отговорилась, что больно поздно и караульные не пропустят. А теперь проснулась она, матушка, – и сейчас же за тобою!

Люба вся вспыхнула от радости.

– Что ж, я сейчас! Я готова!

Она заторопилась и вдруг примолкла.

– Да как же я пойду так? В этом кафтане?

– Эх, и я-то тоже хороша, – крикнула, всплеснув руками, Родимица, – не догадалась, не захватила с собою тебе одежи. Ну да ничего, парнем пошла ты до царевны, парнем и приходи к ней, и так проведу! Так-то почитай что и лучше – царевна по рассказу моему и представляет себе тебя хлопчиком, а вдруг увидела бы девушку… Нет, так лучше! Идем. Простись вот с Николой-то.

Николай Степанович стоял тут же, опустив руки, и лицо у него показалось Любе такое скучное. У нее у самой при последних словах Родимицы упало сердце.

Она, робко и вся вспыхнув, подошла к Малыгину, низко поклонилась ему.

– Прости, Николай Степанович, – сказала она дрогнувшим голосом, – прости, Бог даст, скоро свидимся, а я до гроба буду молиться за тебя, не забуду вовек твоей доброты и ласки.

И она опять поклонилась. Ей хотелось бы еще многое сказать ему, ей хотелось бы сказать, что он первый человек, который и говорил с ней, и смотрел на нее, и относился к ней по-человечески, и что она первого его полюбила всем сердцем своим. Ей хотелось бы без слов передать ему то новое и отрадное чувство, которое родилось в ней с первой минуты их встречи и которое она сама еще не могла уяснить себе.

Но в присутствии Родимицы ей невозможно было произнести ни одного слова больше, потому что все, что она хотела сказать ему, все, что она хотела дать понять ему, было так высоко и свято, что высказать это только можно было без свидетелей, перед одним лишь Богом.

– Прощай! – тихо выговорил ей в ответ Малыгин. – Благодарить тебе меня не за что – кто ж бы я был, если б тебя обидел? А что переночевать-то тебе дал у себя, так ведь вот и Лукьян медведковский, и старик Еремей то же сделали, не объела ты меня, не обездолила. Об одном буду просить я тебя, государыня Любушка, уж позволь ты мне хоть изредка видеть очи твои ясные, не прогони ты меня, коль зайду осведомиться о твоем здравии.

– Да ну, ладно, ладно, – вместо Любы ответила Родимица, – не расписывай, Никола, знаем, теперь ты зачастишь к нам, ну так что ж, мы тебе рады. Ведь так, Люба, не будем гнать его?

Люба только опустила свои длинные ресницы и ничего не промолвила – у нее вдруг во рту пересохло, язык не слушался, а сердце так и стучало.

Родимица лукаво взглянула на Малыгина, потом на Любу, сделала им какой-то неуловимый знак, от которого они оба зарделись, и стала надевать свою шубку.

– С Богом! Мигом докатим. Царевна для меня саночки запрячь приказала.

Еще раз, сама не замечая того, долгим и ласковым взглядом глянула Люба на Николая Степановича и последовала за Родимицей.

Расписные, красивые пошевни дожидались их у ворот. Они уселись в них, ямщик гаркнул, и пара бойких лошадей понесла их по ухабам улиц.

На дворе стояла весенняя оттепель, снег почернел совсем, быстро таял, кое-где образовались глубокие лужи. Санки то и дело подбрасывало, Родимицу и Любу обдавало грязной водой, но Люба ничего не замечала, ничего не видела. Она боялась даже подумать о том, что ее ожидает – от этого ожидания у нее голова кружилась.

Сани все мчались. Стрелецкая слобода осталась далеко позади. Въехали в одну из самых людных частей города. Ямщик постоянно заворачивает то направо, то налево, по переулкам и закоулкам; то приходится взбираться на горку, то спускаться в ложбинку. По обеим сторонам улицы старые, почерневшие строения идут вперемежку с боярскими хоромами, красующимися затейливой резьбой. Вокруг хором сады; чуть не на каждом перекрестке церкви и деревянные и каменные; народу на улицах видимо-невидимо; давка, гам и гвалт, как на базаре. Вот слышится перекрестная брань, вот драка; под самых лошадей подкатываются дерущиеся, ничего не видя, нанося друг другу удары. Ямщик хлещет направо и налево пешеходов; они провожают его бранью.

Эти крики, шум, пестрая толпа пробуждают Любу из ее оцепенения; она с изумлением всматривается и вслушивается.

«Что это такое? Какая бестолочь, какой беспорядок! Ну как тут, – думается ей, – быть одной женщине? Невредимой и необиженной до дому не добраться!»

Совсем не такой представлялась ей московская жизнь в былых грезах.

Проехали еще несколько улиц – и перед Любой кремлевские ворота. В Кремле народу меньше и замечается больше порядка.

Люба глядит с изумлением на чудные постройки, на величественные храмы.

– Что, хорош наш Кремль? – спрашивает ее Родимица.

– Ах, уж так хорош, так хорош, что и слов нет! – отвечает Люба. – Что ж, далеко еще до царевны?

– А вот погоди, мы сейчас остановимся – из санок-то надо вылезть да пешком идти, чтоб нас не очень заметили. Пока еще что так, втихомолку-то лучше. Остановись-ка, Саввушка! – обратилась Родимица к ямщику.

Тот осадил лошадей, и Родимица с Любой вышли из санок.

– Погоди, постой, Любушка, ишь ведь ростепель, грязь-то какая стала! Думала, нам кругом пройти, да нет – по колено увязнешь, придется через царский двор.

Ну что ж, не беда, и там проскользнем, – говорила Родимица, глядя себе под ноги и выбирая, где снег покрепче, где лучше пройти можно.

Люба шла за ней следом. Скоро они вошли в калитку больших каменных ворот и очутились перед дворцом. Люба стала было оглядывать здание, но Родимица шепнула ей:

– Ты не больно глазей-то – успеешь наглядеться. А вот пробирайся сторонкой у стенки, чтоб тебя не заметили, не то как раз каша заварится: кому еще на глаза попадешься!

И они стали пробираться по стенке.

Чем ближе к дворцовому крыльцу, тем народу становилось больше и больше. Царский двор при Федоре Алексеевиче представлял такую же картину, как и сто лет до того: здесь вечно толпилось до двух тысяч разного люда, из которого большинство так и называлось «площадными», то есть имевшими право пребывать на царском дворе. Были тут и жильцы, дворянские, дьячьи и подьяческие дети – все те, кто не имел права входить в переднюю, или кто шел в нее, да останавливался по дороге покалякать.

С изумлением заметила Люба, что здесь, на царском дворе, опять нет тишины и порядка, точь-в-точь как на улицах: крик и гам страшные, никто, очевидно, не стесняется.

Вот сошлись два пожилых человека, взглянули друг на друга, и оба остановились. Их до того времени спокойные и степенные лица мгновенно исказились злобным чувством. Еще мгновение – и один из них показал другому кулак.

– А! Так ты на меня ябеду! – проговорил он, или, вернее, прошипел. – Что ж – хорошо! Пущай. Только смотри ты, Егорка, как бы та ябеда тебе же в шею не вцепилась. Тяжбу-то заварить не труд какой, а вот как ты ее расхлебаешь. Ты думаешь, на тебя уж ни суда, ни расправы нету? Ан я и сам-то зубаст, еще не дамся!..

– Да чего ты, чего ты ко мне придираешься? – отвечал таким же шипящим голосом соперник. – Чего мне кулак-то свой поганый кажешь. У меня, брат, у

самого два кулака, оба на тебя годятся.

При этом поднимаются два кулака чуть не к самому лицу противника. Тот не может этого вытерпеть.

– А! Так ты драться!

– Я-то не дерусь, это ты задираешь!

– А! Так ты драться!

И между соперниками завязывается драка. Они исправно колотят друг друга, колотят до тех пор, пока находят это приятным. И никто их не разнимает. Напротив, десятка два таких же почтенных и солидных с виду особ, как и они, окружают их, смотрят с очевидным удовольствием и даже подзадоривают дерущихся своими замечаниями.

– Вот так! Вот так, под микитку! Вот так, брат, ладно! Ну да! Смотри, брат Иван Петрович, как бы об одном глазу с царского двора не выйти!

А в нескольких шагах от этой сцены происходит другая встреча противников. Там сразу даже и невозможно понять, в чем заключается причина ссоры и обоюдной ненависти. Просто один, может, без всякого умысла, сказал нелюбезное слово, другой обиделся, ответил словцом более крепким. Языки расходились, и нет сил уж удержать их. Начинается обвинение друг друга во всевозможных мерзостях: и в воровстве, и в грабительстве, и даже в убийстве. Но и этого мало. Когда все преступления перебраны, добираются до отцов своих, матерей, братьев, сестер и прочих родственников. Оказываются целые семейства мошенников и разбойников, клятвенно утверждается, что весь род, и дед, и прадед таковы уж.

– Да ведь известно, – кричит один, – твой отец, как в Никольском-то приходе старостой церковным был, так вся Москва про то ведает, что из лампад масло воровал, от святых икон свечки прятал, перетапливал воск да продавал. В церкви-то темень стояла даже по большим праздникам, тьфу ты мерзость! И весь род-то такой поганый!

Но тот, отец которого воровал церковное масло и свечи, не мог вынести этих последних слов и кинулся на своего обидчика.

Обидчик, человек на язык острый и смелый, как дошло дело до кулачной потасовки, оказался не из храбрых и пустился наутек. Тот за ним, пошла гоньба по двору. Обвинитель изворачивался и вправо и влево; обвиняемый был тучен, не мог поймать своего врага и вот с досады поднял валявшийся в снегу большой осколок кирпича, наметился и хватил им в убегавшего, попал ему в голову, тот заорал благим матом, кровь показалась… Только увидя, что дело приняло серьезный оборот и что рана может быть и опасной, присутствовавшие решились выйти из бездействия.

Но Люба уже не видела окончания этой сцены. Родимица толкнула ее в какую-то маленькую калитку, и они очутились в длинной деревянной галерейке.

«Что ж это такое? – думала Люба. – Вот какие дела на свете творятся! И в Кремле, во дворце царском, почитай, то же самое, что в Медведкове. И что мне за напасть такая попадать на всякие ужасы!»

– Неужели у вас часто такое бывает? – спросила она Родимицу.

– Это ты про что? Про брань и драку-то? Да чуть не каждый день грызутся, такая уж у них повадка. Это все старики здешние; говорят, прежде еще и не то бывало. Нет, молодые-то не в пример лучше, степеннее… Но вот сейчас и царевен терем, – докончила Родимица, – чай, ждет она нас не дождется. Меня бранить станет, что долго – уж она всегда так, огонь да и только…

Люба с Родимицей поднялись по лесенке, вошли в сени. Еще одна лесенка, еще одна крытая галерейка, и вот светлый и теплый нарядный покойчик. Тут взад и вперед шмыгает немало разных женщин, видны хозяйские хлопоты.

– Федорушка, ты откудова? Что за парнишка с тобою? – спрашивали Родимицу молодые девушки, заглядывая в лицо Любе. Попадавшиеся старухи тоже спрашивали, но уже другим тоном.

– Эй, Федора, с кем ты тут шляешься? Кого еще притащила? Ох, срама-то с вами, срама!

«Ну и тут то же самое, что у нас в Суздале!» – подумала Люба. Но вдруг она остановилась в недоумении, широко раскрыла глаза – к ней навстречу по полу катилось что-то необычайно странное, живая человеческая фигура в аршин с небольшим величиною. Люба вгляделась и невольно вскрикнула. У катившейся фигуры было страшное лицо, всклокоченные волосы, огромный рот с толстыми красными губами; осклабляясь, она показывала белые зубы.

– С нами крестная сила! – шепнула Люба. – Матушка Федорушка, что это такое? Что это за страсти у вас такие?

– Ах ты глупенькая, Любушка! – засмеялась Родимица. – Из-за тридевяти земель в мужском платье по большой дороге прибежала к нам – не испугалась, а вот карлицы нашей, арапки, испугалась! Небось не съест, да и где тебя съесть – вишь, ты большая какая, а она едва от земли видна; да и не зла она вовсе; иной раз презабавная бывает.

– Что ж, это порода такая? – продолжала шепотом спрашивать Люба, косясь на карлицу. – Господи, неужто народ такой есть?

– Да, народ такой, и много их, говорят, – ответила Родимица, – и живут они в черной Арапии. Да это что! У ней, у нашей арапки-то, все же голова одна, а то вон есть, мне верный человек сказывал, люди о двух головах да с хвостами, так и те тоже Божия творения, а не бесы.

«Ах, сколько на свете разных див и ужасов, – подумала Люба, – и ничего-то я не знала, ничего не ведала! Да и слава те господи! – тут же решила она. – Кабы знала про все, так, пожалуй, из Суздаля убежать не решилась бы, а и побежала бы, так в первую же ночь на дороге со страху померла бы».

XI

Наконец Родимица ввела Любу в укромный покойчик, где никого не было, и заперла за собою дверь.

– Подожди здесь минуту, – сказала она, – я пойду доложу царевне, она в этот час всегда одна бывает у себя, вот тут, за этой дверью…

Родимица исчезла, а Люба стояла ни жива ни мертва, не смея дохнуть.

Прошли минуты две, три, показавшиеся ей долгим часом. Все было тихо, только она слышала, как стучит ее сердце.

Наконец маленькая дверь, в которую скрылась Родимица, приотворилась, и кто-то сказал тихим голосом:

– Войди.

Люба машинально ступила несколько шагов и очутилась в другом покое, более просторном, чем первый.

Покой этот был рабочей комнатой царевны Софьи. Отделка его отличалась большой роскошью. Потолок был писан хитрым разноцветным узором; на полу ковры богатые; из чужих стран выписанная мебель; на стенах зеркала венецианские; в переднем углу под образами высокое, покойное кресло, а рядом стол с книгами, бумагами, перьями и чернильницей в виде глобуса. Но Люба не видела ничего этого – вступив в комнату, она очутилась прямо лицом к лицу с прекрасной молодой женщиной, одетой в бархатную душегрейку, отороченную соболем.

Густые белокурые волосы этой женщины были перевиты крупным жемчугом; глубокие, темно-синие глаза с любопытством и участием остановились на лице Любы; немного резко очерченные полные губы ей ласково улыбнулись.

Люба сразу поняла, кто перед нею, сразу нахлынуло на нее все прежнее, все ее юные, даже еще детские мечты; с новою силою вспыхнула в ней страсть к Царь-девице и с неудержимым, сладостным рыданием упала она в ноги стоявшей перед нею и улыбавшейся ей красавице.

– Что с тобой, милая? О чем ты плачешь? Встань! – звучным голосом проговорила царевна. – Тебе нечего плакать. А и то поплачь, пожалуй! – прибавила она с новой улыбкой. – Этими последними слезами все твое старое горе и выльется. Знаю я, слышала, много ты натерпелась. Как тебя звать-то? Люба, Любушка?.. Хорошо ты сделала, Люба, что пришла ко мне – я тебя врагам твоим не выдам, о тебе позабочусь, я буду любить тебя, Люба! Я уж и люблю тебя, потому что слышала, что ты заочно меня полюбила. Встань же, поднимись, дай посмотреть

на тебя…

Очарованная этими милыми, ласковыми словами, исполненная радости и счастья, поднялась Люба и с немым обожанием взглянула на царевну.

– Ах, да какая же ты красавица! – сказала Софья. – И впрямь – Люба… Только, боже мой, ты все это в своем кафтанишке, в котором бежала! Ах, какой старый да грязный, чай, тебе в нем холодно было дорогою?

И царевна, все улыбаясь и лаская Любу своим глубоким взглядом, рассматривала ее кафтан, всю ее одежду.

– Федорушка! – крикнула она наконец.

Родимица явилась.

– Скорее, скорее выбери из моей одежи, поди переодень ее, причеши и тогда придите опять ко мне. А уж серьги и другие украшения я сама выберу.

Родимица взяла Любу за руку и вывела ее из царевниной комнаты.

Оставшись одна, Софья еще несколько раз, улыбаясь, качнула головою.

«Славная девка! – подумала она. – И красивая и смелая, из нее прок будет, а мне нужно набирать таких. Будь у меня их побольше, я бы из них полк амазонок сделала и с этим полком весь мир завоевала бы».

Царевна прошлась по комнате, подошла к столу, придвинула кресло и стала разбирать книги. Царевнина библиотека состояла из цвета тогдашней русской литературы, и содержание этих книг указывало на большую любознательность и замечательную, по тогдашнему времени, образованность Софьи. Здесь была и книга, переведенная монахом Епифанием Славинецким «Уставы граждано правительственные из первой книги фукидитовой истории и из конца панегирика Траяну, Плиния младшего», две части географии: Европа и Азия, «Книга врачевской анатомии Андрея Весселия Букселенска», «Об убиении краля ангельского» (английского короля Карла I), «Гражданство и обучение нравов детских», перевод ученого монаха Арсения Сатановского «О граде царском» и

«Поучение некоего учителя именем Мефрета». Были здесь и книги, сочиненные и изданные учителем царевны, знаменитым Симеоном Полоцким.

Софья развернула одну из них, посвященную ей учителем и с обращенным к ней стихотворным предисловием.

Она прочла:

О, благороднейшая царевна Софья,

Ищеши премудрости выну небесные.

По имени твоему (Софья – мудрость) жизнь

Твою ведеши:

Мудрая глаголиши, мудрая дееши…

Ты церковные книги обыкла читати

И в отеческих свитцех мудрости искати…

«Вот как расписал меня учитель! – усмехнулась про себя царевна. – „Ищеши премудрости выну небесные… по имени твоему разнообразны”.

Чудное, золотое время! Где оно теперь? – думала Софья. – Все не до небес теперь! Бывало, при батюшке, не о чем было житейском и думать, тогда точно, мысль высоко летала в сферах премудрости Божией…

Чудное, золотое время! Где оно теперь? – думала Софья, – все изменилось… Вот сколько времени ни одной книги и в руки не брала, чай, уж многое позабыла, что знала прежде, да где уж тут! – неотложных забот много… Вон брату Федору день ото дня хуже становится! Того и жди умрет, и, если я не сумею устроить нашего дела, тогда мы все погибли. Лютая злодейка моя, царица Наталья, на мне первой выместит свою злобу, а будет подрастать Петр, так чего мне ждать от него? Его уж и теперь приучили ненавидеть меня и всех нас. Скоро, скоро тогда добьются они нашей казни… Всех нас изведут Нарышкины… Нет, не время читать книги, не время учиться – нужно весь разум напрягать к тому, чтобы спасти живот свой и своих близких… Да что, если и живых оставят, если не изведут тем или другим способом, если даже и в монастырь какой далекий не

заточат, так при Нарышкиных разве будет мне какая-нибудь воля, разве буду я иметь хоть малейшее значение?.. Мне придется запереться в этом тереме, распроститься со всякой живой жизнью: есть, пить, спать, молиться, молебны служить да панихиды, слушать сказки и присказки дур да карлиц, жить так, как живали наши бабки, как живут и теперь тетки Михайловны и мои сестрицы…

Ну что ж, если им любо, если для них достаточно такой жизни, пусть живут себе, да мне-то этого мало, по мне-то это не жизнь, а смерть… хуже смерти! Я задохнусь в стенах этого тесного терема… Нет, мне нужно простору, мне нужно власти!..

Но что ж делать? Вот ведь думаешь и передумываешь, кажется, все идет ладно, а смотришь, и опять что-нибудь зацепилось… Совсем было взяла в руки я нашу новую царицу, Марфу, во всем она со мной советовалась, на все моими очами глядела… Ан подвернулся какой-то недобрый человек – и уж она брата Федора за Матвеева просит…

Нет, нельзя допустить этого – явится Матвеев и много бед наделает. Все глупые Нарышкины, вместе взятые, не так страшны, как один старик Матвеев – это исконный враг наш. Не на кого положиться… В ком искать себе помощи? Одна, все одна, тут никакого разума не хватит… Ежели и прав учитель, премудрой меня называя, все же дела такие великие одной головой не делаются… Дядя Милославский?.. Да, он человек золотой, нужный, но с ним тоже как раз в беду попадешься – выдержки у него нету…

Эх, есть золотая головка, что на каждый час, на каждое время пригодилась бы, – милый друг мой Васенька, да в кои-то веки его увидишь, побеседуешь с ним – все он в походах да в походах, то сюда, то туда его посылают. Видно, пронюхали старые вороны его силу орлиную, так опасаются, удаляют… Вот маленьких людей набирать нужно – иной раз маленькие-то люди нужнее больших оказываются. Дурно, что ли, моя Родимица Федорушка дела обделывает? Обещает, что в скором времени все стрельцы на нашу сторону станут. И не похвальба то пустая – сама я в этом с каждым днем больше и больше уверяюсь. Да, Федорушка, служи, служи свою службу, а будет на нашей улице праздник, так тебя я не забуду… Побольше бы мне таких Родимиц!.. Вот, кто знает, может, и новая слуга верная у меня будет!»

Улыбнулась царевна, вспомнив смешную и милую фигуру Любы в старом кафтане, с обвязанной головою.

«Нужно хорошенько оглядеть эту девку, сразу она пришлась мне по нраву», – думала она.

А Люба уже стояла перед царевной, снаряженная и наряженная Родимицей. На ней была голубая шелковая сорочка, стянутая алым поясом, и распашная телогрея, перед которой был весь унизан золотыми пуговками и нашивками. Густые ее волосы были спрятаны в волосник – сетку, сплетенную из пряденого золота.

В этом наряде Люба не могла показаться смешною; от сочетания ярких цветов шелка и золота ее красота выступила в полной силе.

Царевна несколько мгновений молчала, любуясь ею.

– Федорушка, – наконец обратилась она к тут же стоявшей Родимице, – поди принеси мой ларчик.

Родимица поспешно исполнила это приказание. Царевна вынула из кармана ключ, отперла им принесенный ларец резной слоновой кости и стала вынимать одно за другим различные украшения.

Люба с невольным восторгом следила за этой работой. Она еще никогда не видела таких прекрасных и роскошных вещей, таких серег, монистов, перстней, цепочек, обручей, запястий и зарукавий. Луч солнца ударил из окна прямо на ларец, и самоцветные камни и жемчуга так и блестели, так и переливались всеми цветами.

Царевна выбрала красивое ожерелье из крупных гранатов вперемешку с жемчугом, яхонтовые сережки с длинными подвесками и, милостиво глядя на Любу, сказала:

– Поди ко мне, наклонись, я сама тебе вдену серьги и повяжу ожерелье. Это я дарю тебе в знак моей милости и надеюсь, что ты окажешься ее достойной.

Люба склонилась пред царевной и со слезами на глазах прошептала ей свою благодарность.

Софья ласково протянула ей руку, и Люба крепко прижалась губами к руке этой. Не обманули ее грезы, не приходится ей раскаиваться в своей решимости, в своем побеге – привела ее судьба, по Божьей милости, в чудный терем Царь-девицы, и этот терем оказался таким же волшебным, каким она его себе представляла, а Царь-девица еще краше, еще милее, еще волшебнее.

«Боже мой, что же все это такое? Уж не сон ли опять? Не ночные ли грезы? Разве наяву может быть такое счастье?»

Она в первый раз решилась пристально взглянуть на царевну, и Софья показалась ей какой-то неземной красавицей.

«Не человек это, а ангел Божий!» – с сердечным трепетом подумала Люба. И этот ангел ласково глядит на нее, грешную, земную Любу, и улыбается ей, и осыпает ее милостями. Чем же она заслужила все это? Чем же заслужить? Да, отныне вся жизнь ее принадлежит царевне! За нее пойдет она в огонь и воду, по первому ее знаку умрет и будет счастлива, что умрет за нее.

Софья зорко следила за выражением лица Любы и, по-видимому, читала ее мысли.

Она не могла не заметить, какое сильное впечатление произвела на девушку, и нарочно усугубляла свои ласки и улыбки для того, чтоб окончательно заворожить ее, приобрести ее в полное свое владение.

Когда наряд новой теремной жилицы был вполне окончен, царевна приказала ей сесть на низкую парчовую скамейку рядом с собою и стала ее обо всем расспрашивать.

Люба, сначала запинавшаяся от восторга и смущения, наконец, под обаятельным и ласковым взглядом Софьи успокоилась и всю свою душу высказала перед Царь-девицей.

Софья слушала ее с видимым удовольствием. Ей становилось ясно, что она не обманулась в своих надеждах, возлагаемых на эту смелую, так неожиданно и странно явившуюся к ней девушку.

«Большой прок будет из этой Любы! – думала она. – Кто знает, может, я в ней нажила себе незаменимого человека. Не обидел ее Господь разумом, хоть она и совсем еще ребенок».

Точно так же понравилось царевне и то, что Люба грамотна. Она сейчас же развернула одну из книг, лежавших на столе, и протянула ее Любе.

– Ну-ка, вот, прочти мне, посмотрю, как ты читаешь.

Люба взяла дрожащими руками книгу, щеки ее зарделись румянцем.

«А вдруг не сумею! – с ужасом подумала она. – Ведь давно в руках книг не было, пожалуй, разучилась. Господи, помоги мне!»

Взглянув на развернутую перед ней страницу знаменитого сборника «О граде царском», она с отчаянием увидела, что многие буквы как-то странно выставлены и она их не знает. Но тут решается для нее вопрос очень важный, и ясно, что царевне будет приятно, если она сумеет прочесть хорошо. И она, напрягая все свое внимание, стараясь успокоиться, решилась и прочитала:

«Обретаютжеся еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевание на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь гор, различные семена, злаки травные, притчи и иная многая собранная и в едино место совокупленная. А сложено то все разумом и прикладом в Троиц С. Единому, ко ангелам, к человеку и его добродетелям и злобам, такожде и к коварству демонов и к похвалению святых Божьих, к хулению же еретиков удивительным прировнянием и свидетельством Ветхаго и Новаго Завета писанные и с толкованием учителей церковных приводятся…»

– Э, да ты славно читаешь! – похвалила ее царевна. – В этом превзошла даже мою Федорушку, та вот до сих пор сложит аз да буки – да и запнется. Я тебе ее под начало отдам.

– Нет уж, уволь, царевна, – заметила, улыбаясь, Родимина, – поздно мне учиться грамоте, да авось и без книг проживу. А коли придется цидулку какую прочесть нужную, так на это меня хватит.

Однако нужно подумать о том, чтоб определить положение Любы в тереме царевны. Все должности были, конечно, уже разобраны.

– А вот что, Федорушка, – подумавши, сказала Софья, – пусть будет Люба твоей помощницей, авось вы не погрызетесь, как станете стлать мне постель. К тому же тогда я часто буду видеть ее, а мне хочется с ней ознакомиться. Недаром же она столько верст прошла, чтоб до меня добраться…

Родимица ничего не имела против этого распоряжения царевны: она была вовсе не зла и не завистлива, только много бранилась и ссорилась с остальными царевниными женщинами, особенно со старухами, и ей приятно было иметь в Любе новую союзницу.

XII

Люба очень скоро свыклась со своим положением. Только первые дни ходила она, как в тумане, и каждый вечер ложилась в постель необыкновенно уставшею. Да и как было не утомиться ей в царском тереме, рядом с которым перхуловский дом представляется таким крохотным и тихим.

Московский терем вмещал в себе несметное число женщин всех возрастов; с утра и до вечера по его покоям, переходам, коридорам и галерейкам взад и вперед то и дело сновали всякие теремные жилицы, начиная с прислуги и кончая боярынями, приближенными к царице и царевнам. И весь этот люд заинтересовался новой жилицей, Любой. Все спешили с ней перезнакомиться, узнать, кто она, откуда, что за птица. Несколько десятков раз приходилось ей рассказывать про себя одно и то же, выслушивать одни и те же замечания.

Старухи накидывались на нее, порицали ее поступок, ее неслыханную смелость и прямо в лицо объявляли ей, что пути из нее не будет. Молодые завидовали ее счастью, тому, что она без всяких заслуг с своей стороны, неведомо откуда пришедшая, сразу оказалась в любимицах у царевны Софьи.

Люба должна была держать ухо востро, обдумывать каждый свой шаг, каждое слово, чтоб не нажить себе лишних и опасных врагов и чтоб, напротив, приобрести кое-каких приятельниц.

Впрочем, она скоро оказалась разумной и рассудительной; смущение и робость первых дней прошли. Царский терем и даже сама Царь-девица уже не казались ей сновидением; она поняла, что живет и что нужно уразуметь смысл той жизни, которая ее окружает.

В перхуловском доме, приниженная и обязанная сносить безропотно все оскорбления, она, конечно, не могла быть сама собою. Здесь же ее положение оказалось совсем иное, здесь нельзя было безнаказанно обижать ее, да и самое недоброжелательство к ней должно было скрываться. Она почуяла себя в большом просторе и выказала все свои способности. На ее лицо вернулась давно позабытая детская улыбка, с полнотою и довольством жизни вылетело все мрачное из мыслей. Ей хотелось петь, ликовать, и она глядела на всех светлыми глазами, для всех у ней готово было ласковое слово. И многие из тех, кто с первого раза отнесся к ней недружелюбно, в короткое время примирились с ее положением царевниной любимицы, старались сблизиться с нею и многие даже заискивали в ней, надеясь через ее посредство и ходатайство перед царевной кое-чего добиться. Но Любу провести было трудно. Она бессознательно, инстинктивно чувствовала, кто с нею искренен и кто только прячется под ласковую личину. Иной раз ей даже трудно было удержаться, хотелось выразить свое негодование какой-нибудь лживой женщине, уверявшей ее в дружбе и готовой сейчас же взвести на нее какую угодно сплетню. Но она удерживалась и не выказывала своего чувства.

«Да бог с ними! – думала она. – Пускай себе лгут и притворяются – мне-то какое дело? Лишь бы не потерять милости царевны, лишь бы Федорушка от меня не отвернулась».

Федорушка сделалась ее искренним другом и с ее-то помощью, из ее рассказов вся подноготная терема скоро стала ясна для Любы.

По своему обыкновению, думая и раздумывая о том, что вокруг нее творится, Люба не могла не вспоминать Суздаля. Две различные величины, малая и большая – перхуловский дом и царский терем, несмотря на видимое различие, в сущности, походили друг на друга: как там, так и здесь женская жизнь являла одни и те же черты, ту же замкнутость и однообразие. Разница была только в том, что против этой замкнутости и однообразия в перхуловском доме бессильно восставала одна Люба, – здесь же возмущение началось, очевидно, не со вчерашнего дня, велось под знаменем царевны Софьи и некоторых из ее сестер.

К этому возмущению примкнули все более или менее молодые обитательницы терема; старухи, стоявшие за стародавние обычаи, оказывались в меньшинстве; но все же они не признавали себя побежденными; весьма многие внешние формы жизни велись по-старому.

Царский московский терем, в то время как попала в него Люба, был весьма обширен – его перестроили в конце царствования Алексея Михайловича. Да и нельзя было иначе – у каждой царевны был свой большой штат, а царевен в ту пору было немало. Три царевны – тетки Михайловны: Ирина, Анна и Татьяна, да шесть царских сестер Алексеевен: Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Марья и Феодосья. Кроме того, две царицы: Наталья Кирилловна с детьми, Петром и Натальей, да вторая супруга царя Федора, только что с ним обвенчанная, пятнадцатилетняя Марфа Матвеевна из рода Апраскиных.

Если бы пришлось быть одной хозяйке над всем этим многолюдным теремом, то ей нужно было бы вести жизнь каторжную, потому что нечеловеческих усилий требовалось для ведения такого хозяйства. Кто бы мог соблюсти мир, дружбу и спокойствие между всеми этими родственницами!

Рассказывали, что покойная царица, первая супруга Алексея Михайловича, Марья Ильинишна, не дожившая до старости, много намучилась и сократила свою жизнь именно потому, что хозяйничанье в тереме пришлось ей больно солоно.

Вторая супруга Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, спаслась от хозяйских мук только великою к ней любовью царя, неустанно заботившегося о том, чтоб отстранить от нее все неприятности и даже для этой цели отдельно ее поселившего.

Теперь, собственно говоря, хозяйки не было в тереме. Наталья Кирилловна с детьми продолжала жить особо, да ее никто и не считал хозяйкой. В тереме ее ненавидели и только помышляли о том, как бы сделать ей побольше неприятностей. Новая же молодая царица едва успела ознакомиться с теремом и по своим летам, конечно, не могла быть хозяйкой.

Старшие царевны, Михайловны, пользовались уважением от младших, но очень хорошо понимали, что стоит им только заявить право старшинства, как это уважение превратится в недоброжелательство, во вражду, успешно вести

которую у них сил не хватит. Поэтому они старались держать себя очень тихо и скромно и возвышать свой голос только тогда, когда этого непременно требовали от них. К тому же царевны Михайловны еще имели одну причину замыкаться в своих покоях и принимать мало участия в общей теремной жизни: они сильно были недовольны новыми нравами и обычаями, забравшимися в терем.

Старшая царевна Михайловна, уже шестидесятилетняя старушка, в беседе с духовником своим постоянно твердила ему, что грех великий живет ныне и в царском доме, что содрогаются кости покойного батюшки царя Михаила Федоровича от того срама и ужаса, которые творятся в его семействе.

– Да, не тем будь помянут покойный братец, великий государь Алексей Михайлович, человек он был добрый и набожный и до нас ласковый – за это великое ему спасибо, и мы о душе его ежечасно молимся, – но все же и он взял великий грех себе на душу, попал-таки в когти дьяволу, допустил много зла своею слабостью. И от его слабости выросло в тереме древо нечестия, а уж теперь, по его смерти, к племянницам нам зазорно и заглянуть – такое у них творится. Бывало, как мы были молоды, у нас в тереме тишь да гладь, да Божья благодать – ни один мужчина заглянуть не смеет, близких родных и тех не видали, только отец духовный и вхож был к нам с матушкой. Теперь же племянницы целую ораву мужчин в терем нагнали: все Милославские ходят, да и невесть кто. А уж про племянницу Софью и говорить нечего – та совсем как басурманка какая живет, прости господи!..

Как же было и не жаловаться старой царевне на новые порядки теремной жизни. Она выросла в строгих нравах. В ее время царевны почти никогда не выходили из своих покоев, проводя круглый день в обществе приближенных женщин и девушек из лучших родов боярских. Все занятия и развлечения их состояли в вышивании да нарядах, и некому было полюбоваться на красоту их – не попадались они на глаза ни одному мужчине, даже государя редко видывали, никогда не обедали за одним столом с ним. Самые приближенные к государю лица, посещавшие царский дворец ежедневно в течение многих лет, зачастую ни разу не видали царицы и царевен. Даже и врач никогда не мог их видеть. Если случится с царицей или царевной болезнь какая и оказывается необходимым присутствие доктора, то сначала всю комнату больной, все окна занавесят черными занавесками, чтоб было темно, как ночью, и тогда только впустят врача. Нужно ему пощупать пульс у больной, так ее руку окутают тонким покровом, чтобы врач не мог коснуться ее тела.

Случится нужда выехать царице и царевнам на богомолье, так едут они в карете или санях, со всех сторон плотно закрытых. В церковь выходят по особой крытой галерее, и отведено им такое место, что никто из стоящих в храме их не видит.

Никто из народа не смеет даже мельком взглянуть на них и при встрече должен падать ниц и закрывать себе лицо. Если случайно кто-нибудь осмелится взглянуть на царицу или царевну, то ждать ему беды неминучей. Сейчас начнется розыск и допрос, не было ли у него злого умысла.

Старая царевна, конечно, могла с благоговением вспоминать свою старину, хвалить чистоту прежних нравов и осуждать свободу и распущенность нового терема – она уже дожила до старости, уже все земное вышло из ее помыслов и единственное утешение оставалось ей в молитве. Но если бы хорошенько вспомнила она свою молодость, все, что когда-то было ею пережито и перечувствовано, то вряд ли бы стала так нападать она на племянниц и так расхваливать свое время.

Тяжела была в прежние годы жизнь русской царевны. Всякая девушка, родившаяся не в царском семействе, хоть и подвергалась тоже немалым строгостям и должна была вести жизнь уединенную, все же от нее не отняты были права на семейное счастье. Достигнув известного возраста, она выходила замуж, положим, не видав до свадьбы своего жениха и не зная, кто будет ее господином, но все же у нее оставалась надежда, что этот неведомый господин окажется по сердцу, будет добрым мужем. Да и, наконец, отлично понимая, что от своей судьбы не уйдешь и не найдешь себе другую, русская женщина привязывалась даже и к плохому мужу. Потом у нее являлись дети, а с ними и новая радость, новая прелесть жизни.

Русская же царевна не имела перед собой никакой надежда на семейное счастье. Со дня рождения, по одному своему положению, она была обречена на вечное девство. Выдать ее замуж оказывалось невозможным – брак с иноземным принцем не допускался по религиозным причинам, а брак с человеком русским, со своим подданным, хотя бы из высокого боярского или княжеского рода, считался зазорным для царевны. Таким образом, девица-царевна волей-неволей должна была готовиться в монастырки, постницы, монахини. Радость и счастье наполняли ее жизнь только в детстве, когда эти радость и счастье бессознательны и зарождаются сами собою, без всякой видимой причины. Но едва царевна вступала в сознательный возраст, едва начинала развиваться телесно и умственно, едва являлась в ней законная, естественная потребность в

радости и счастье, в некоторой полноте жизни, как становилась перед нею мысль о том, что она навсегда должна гнать от себя все светлые грезы, что не для нее то, о чем мечтают, чего дожидаются и что получают другие девушки, начиная от боярышни и кончая каждой простой поселянкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/solov-ev_vsevolod/car-devica

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити